



МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ШОЛОХОВ

ТИХИЙ ДОН

Том I

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

р у с с к а я к л а с с и к а

Эксклюзив: Русская классика

Михаил Шолохов
Тихий Дон. Том I

«Издательство АСТ»

1928

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Шолохов М. А.

Тихий Дон. Том I / М. А. Шолохов — «Издательство АСТ»,
1928 — (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-013991-0

«Тихий Дон» — грандиозный роман-эпопея, принесший Михаилу Шолохову Нобелевскую премию. Масштабное повествование о судьбе донского казачества в самый противоречивый, переломный период истории нашей страны — годы Первой мировой, революции и Гражданской войны. Это увлекательная «семейная сага» о любви, ненависти и предательстве. Книга, о которой говорят и спорят по сей день!

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-013991-0

© Шолохов М. А., 1928
© Издательство АСТ, 1928

Содержание

Книга первая	5
Часть первая	5
I	5
II	8
III	13
IV	17
V	21
VI	23
VII	24
VIII	25
IX	28
X	30
XI	32
XII	33
XIII	35
XIV	37
XV	40
XVI	43
XVII	47
XVIII	49
XIX	52
XX	55
XXI	56
XXII	58
XXIII	59
Часть вторая	64
I	64
II	68
III	74
IV	76
V	79
VI	82
VII	83
VIII	87
IX	90
X	92
XI	97
XII	99
XIII	101
XIV	103
XV	106
XVI	108
XVII	111
Конец ознакомительного фрагмента.	115

Михаил Александрович Шолохов

Тихий Дон

Том 1

Книга первая

*Не сохами-то славная землюшка наша
распахана...
Распахана наша землюшка лошадиными
копытами,
А засеяна славная землюшка казацкими головами,
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами.
Цветен наш батюшка тихий Дон сиротами,
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими,
материнскими слезами.*

*Ой ты, наш батюшка тихий Дон!
Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь?
Ах, как мне, тиху Дону, не мутну течи!
Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют.
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбища мутит.*

Старинные казачьи песни

Часть первая

I

Мелеховский двор – на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше – перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона. На восток, за красноталом гуменных плетней, – Гетманский шлях, полынная просесть, истоптанный конскими копытами бурый, живущий придорожник, часовенка на развилке; за ней – задернутая текучим маревом степь. С юга – меловая хребтина горы. На запад – улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу.

В предпоследнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туретчины привел он жену – маленькую, закутанную в шаль женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза. Пахла шелковая шаль далекими неведомыми запахами, радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия, и старик Мелехов вскоре отделил сына. В курень его не ходил до смерти, не забывая обиды.

Прокофий обстроился скоро: плотники срубили курень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгорбленную иноземку-жену. Шел с ней за арбой с

имуществом по хутору – высыпали на улицу все, от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды, голосисто перекликались бабы, орда немых казачат улюлюкала Прокофию вслед, но он, распахнув чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимал в черной ладони хрупкую кисть жениной руки, непокорно нес белесо-чубатую голову, – лишь под скулами у него пухли и катались желваки да промеж каменных, по всегдашней неподвижности, бровей проступил пот.

С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на майдане. Жил в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по хутору чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянют зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана. Сжал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам, бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофия: одни утверждали, что красоты она досель невиданной, другие – наоборот. Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Прокофию будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что турчанка попалась Прокофию последняя из никудышных...

Спустя время раскрасневшаяся Мавра, с платком, съехавшим набок, торчила на проулке бабьей толпе:

– И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы баба была, а то так... Ни заду, ни пуза, одна страма. У нас девки глаже ее выгуливаются. В стану – перервать можно, как оса; глазюки – черные, здоровюющие, стригеть ими, как сатана, прости бог. Должно, на сносях дохаживает, ей-бо!

– На сносях? – дивились бабы.

– Кубыть, не махонькая, сама трех вынянчила.

– А с лица как?

– С лица-то? Желтая. Глаза тусменные, – небось не сладко на чужой сторонushке. А ишо, бабоньки, ходит-то она... в Прокофьевых шароварах.

– Ну-у?.. – ахали бабы испуганно и дружно.

– Сама видала – в шароварах, только без лампасин. Должно, буднишние его подцепила. Длинная на ней рубаха, а из-под рубахи шаровары, в чулки вобратые. Я как разглядела, так и захолоноуло во мне...

Шепотом гутарили по хутору, что Прокофьева жена ведьмачит. Сноха Астаховых (жили Астаховы от хутора крайние к Прокофию) божились, будто на второй день троицы, перед светом, видала, как Прокофьева жена, простоволосая и босая, доила на их базу корову. С тех пор ссохлось у коровы вымя в детский кулачок, отбила от молока и вскоре издохла.

В тот год случился небывалый падеж скота. На стойле возле Дона каждый день пятнилась песчаная коса трупами коров и молодняка. Падеж перекинулся на лошадей. Таяли конские косяки, гулявшие на станичном отводе. И вот тут-то прополз по проулкам и улицам черный слушок...

С хуторского схода пришли казаки к Прокофию.

Хозяин вышел на крыльцо, кланяясь.

– За чем добрым пожаловали, господа старики?

Толпа, подступая к крыльцу, немо молчала.

Наконец один подвыпивший старик первый крикнул:

– Волоки нам свою ведьму! Суд наведем!..

Прокофий кинулся в дом, но в сенцах его догнали. Рослый батареец, по уличному прозвищу Люшня, стучал Прокофия головой о стену, уговаривал:

– Не шуми, не шуми, нечего тут!.. Тебя не тронем, а бабу твою в землю втолочим. Лучше ее уничтожить, чем всему хутору без скотины погибнуть. А ты не шуми, а то головой стену развалю!

– Тяни ее, суку, на баз!.. – гахнули у крыльца.

Полчанин Прокофия, намотав на руку волосы турчанки, другой рукой зажимая рот ее, распяленный в крике, бегом протащил ее через сени и кинул под ноги толпе. Тонкий вскрик просверлил ревущие голоса.

Прокофий раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу, сорвал со стены шашку. Давя друг друга, казаки шарахнулись из сенцев. Кружа над головой мерцающую, взвизгивающую шашку, Прокофий сбежал с крыльца. Толпа дрогнула и рассыпалась по двору.

У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню и сзади, с левого плеча наискось, развалил его до пояса. Казаки, выламывавшие из плетня колья, сыпанули через гумно в степь.

Через полчаса осмелевшая толпа подступила ко двору. Двое разведчиков, пожимаясь, вошли в сенцы. На пороге кухни, подплывшая кровью, неловко запрокинув голову, лежала Прокофьева жена; в прорези мученически оскаленных зубов ее ворочался искусанный язык. Прокофий, с трясущейся головой и остановившимся взглядом, кутал в овчинную шубу попискивающий комочек – преждевременно родившегося ребенка.

Жена Прокофия умерла вечером этого же дня. Недоношенного ребенка, сжавившись, взяла бабка, Прокофьева мать.

Его обложили пареными отрубями, поили кобыльим молоком и через месяц, убедившись в том, что смуглый турковатый мальчонок выживет, понесли в церковь, окрестили. Назвали по деду Пантелею. Прокофий вернулся с каторги через двенадцать лет. Подстриженная рыжая с проседью борода и обычная русская одежда делали его чужим, непохожим на казака. Он взял сына и стал на хозяйство.

Пантелей рос исчерна-смуглым, бедовым. Схож был на мать лицом и подбористой фигурой.

Женил его Прокофий на казачке – дочери соседа.

С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-уличному – Турки.

Похоронив отца, въелся Пантелей в хозяйство: заново покрыл дом, прирезал к усадьбе с полдесятины гулевой земли, выстроил новые сараи и амбар под жестью. Кровельщик по хозяйскому заказу вырезал из обрезков пару жестяных петухов, укрепил их на крыше амбара. Веселили они мелеховский баз беспечным своим видом, придавая и ему вид самодовольный и зажиточный.

Под уклон сползавших годков закряжистел Пантелей Прокофьевич: раздался в ширину, чуть ссутулился, но все же выглядел стариком складным. Был сух в кости, хром (в молодости на императорском смотре на скачках сломал левую ногу), носил в левом ухе серебряную полу-месяцем серьгу, до старости не слиняли на нем вороной масти борода и волосы, в гневе доходил до беспамятства и, как видно, этим раньше времени состарил свою когда-то красивую, а теперь сплошь опутанную паутиной морщин, дородную жену.

Старший, уже женатый сын его, Петро, напоминал мать: небольшой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, кареглазый; а младший, Григорий, в отца попер: на полголовы выше Петра, хоть на шесть лет моложе, такой же, как у бати, вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой румянеющей кожей. Так же ссутулился Григорий, как и отец, даже в улыбке было у обоих общее, звероватое.

Дуняшка – отцова слабость – длиннорукий, большеглазый подросток, да Петрова жена Дарья с малым дитём – вот и вся мелеховская семья.

II

Редкие в пепельном рассветном небе зыбились звезды. Из-под туч тянул ветер. Над Доном на дыбах ходил туман и, пластаясь по откосу меловой горы, сползал в яры серой безголовой гадюкой. Левобережное Обдонье, пески, енды, камышистая непролазь, лес в росе – полыхали исступленным холодным заревом. За чертой, не всходя, томилось солнце.

В мелеховском курене первый оторвался ото сна Пантелей Прокофьевич. Застегивая на ходу ворот расшитой крестиками рубахи, вышел на крыльцо. Затравевший двор выложен росным серебром. Выпустил на проулок скотину. Дарья в исподнице пробежала доить коров. На икры белых босых ее ног молозивом брызгала роса, по траве через баз лег дымчатый примятый след.

Пантелей Прокофьевич поглядел, как прямится примятая Дарьиными ногами трава, пошел в горницу.

На подоконнике распахнутого окна мертвенно розовели лепестки отцветавшей в палисаднике вишни. Григорий спал ничком, кинув наотмашь руку.

– Гришка, рыбалить поедешь?

– Чего ты? – шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги.

– Поедем, посидим зорю.

Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные шаровары, взял их в белые шерстяные чулки и долго надевал чирок, выправляя подвернувшийся задник.

– А приваду маманя варила? – сипло спросил он, выходя за отцом в сенцы.

– Варила. Иди к баркасу, я зараз.

Старик ссыпал в рубашку распаренное пахучее жито, по-хозяйски смел на ладонь упавшие зерна и, припадая на левую ногу, захромал к спуску. Григорий, нахохлясь, сидел в баркасе.

– Куда править?

– К Черному яру. Спробуем возле этой кáрши, где надысь сидели.

Баркас, черканув кормою землю, осел в воду, оторвался от берега. Стремя понесло его, покачивая, норовя повернуть боком. Григорий, не огребаясь, правил веслом.

– Гребани, что ль.

– А вот на середку выберемся.

Пересекая быстрину, баркас двинулся к левому берегу. От хутора догоняли их глухие на воде петушиные переделки. Чертя бортом черный хрящеватый яр, лежавший над водой урубом, баркас причалил к котловине. Саженьях в пяти от берега виднелись из воды раскоряченные ветви затонувшего вяза. Вокруг него коловёрть гоняла бурые комья пены.

– Разматывай, а я заприважу, – шепнул Григорию отец и сунул ладонь в парное зевло кубышки.

Жито четко брызнуло по воде, словно кто вполголоса шепнул: «Шик!» Григорий нанизал на крючок взбухшие зерна, улыбнулся:

– Ловись, ловись, рыбка большая и малая.

Леса, упавшая в воду кругами, вытянулась струной и снова ослабла, едва грузило коснулось дна. Григорий ногой придавил конец удилища, полез, стараясь не шелохнуться, за кистом.

– Не будет, батя, дела... Месяц на ущербе.

– Серники захватил?

– Ага.

– Дай огню.

Старик закурил, поглядел на солнце, застрявшее по ту сторону коряги.

– Сазан, он разное берет. И на ущербе иной раз возьмется.

– Чутно, мелочь насадку обсекает, – вздохнул Григорий.

Возле баркаса, хлопнув, схлынула вода, и двухаршинный, словно слитый из красной меди, сазан со стоном прыгнул вверх, сдвоив по воде изогнутым лопушистым хвостом. Зернистые брызги засеяли баркас.

– Теперя жди! – Пантелей Прокофьевич вытер рукавом мокрую бороду.

Около затонувшего вяза, в рукастых оголенных ветвях одновременно выпрыгнули два сазана; третий, поменьше, ввинчиваясь в воздух, настойчиво раз за разом бился у яра.

* * *

Григорий нетерпеливо жевал размокший конец самокрутки. Неяркое солнце стало в полдуба. Пантелей Прокофьевич израсходовал всю приваду и, недовольно подобрав губы, тупо глядел на недвижный конец удилища.

Григорий выплюнул остаток сигарки, злобно проследил за стремительным его полетом. В душе он ругал отца за то, что разбудил спозаранку, не дал выспаться. Во рту от выкуренного натошак табака воняло припаленной щетиной. Нагнулся было зачерпнуть в пригоршню воды – в это время конец удилища, торчавший на пол-аршина от воды, слабо качнулся, медленно пополз книзу.

– Засекай! – выдохнул старик.

Григорий, встрепенувшись, потянул удилище, но конец стремительно зарылся в воду, удилище согнулось от руки обручем.словно воротом, огромная сила тянула вниз тугое красноталовое удилище.

– Держи! – стонал старик, отпихивая баркас от берега.

Григорий силился поднять удилище и не мог. Сухо чмокнув, лопнула толстая леса. Григорий качнулся, теряя равновесие.

– Ну и бугай! – пришептывал Пантелей Прокофьевич, не попадая жалом крючка в насадку.

Взволнованно посмеиваясь, Григорий навязал новую лесу, закинул.

Едва грузило достигло дна, конец погнуло.

– Вот он, дьявол!.. – хмыкнул Григорий, с трудом отрывая от дна метнувшуюся к стремени рыбу.

Леса, пронзительно брунжа, зачертила воду, за ней косым зеленоватым полотном встала вода. Пантелей Прокофьевич перебирал обрубковатыми пальцами держак черпала.

– Заверни его на воду! Держи, а то пилой рубанет!

– Небось!

Большой изжелта-красный сазан поднялся на поверхность, вспенил воду и, угнув тупую лобастую голову, опять шарахнулся вглубь.

– Давит, аж рука занемела... Нет, погоди!

– Держи, Гришка!

– Держу-у-у!

– Гляди, под баркас не пущай!.. Гляди!

Переводя дух, подвел Григорий к баркасу лежавшего на боку сазана. Старик сунулся было с черпалом, но сазан, напрягая последние силы, вновь ушел в глубину.

– Голову ему подымай! Нехай глотнет ветру, он посмирнеет.

Выводив, Григорий снова подтянул к баркасу измученного сазана. Зевая широко раскрытым ртом, тот ткнулся носом в шершавый борт и стал, переливая шевелящееся оранжевое золото плавников.

– Отвоевался! – крикнул Пантелей Прокофьевич, поддевая его черпалом. Посидели еще с полчаса. Стихал сазаний бой.

– Сматывай, Гришка. Должно, последнего запрягли, ишо не дождемся.

Собрались. Григорий оттолкнулся от берега. Проехали половину пути. По лицу отца Григорий видел, что хочет тот что-то сказать, но старик молча поглядывал на разметанные под горой дворы хутора.

– Ты, Григорий, вот что... – нерешительно начал он, теребя завязки лежавшего под ногами мешка, – примечаю, ты, никак, с Аксиньей Астаховой...

Григорий густо покраснел, отвернулся. Воротник рубахи, врезаясь в мускулистую прижатую солнцегревом шею, выдавил белую полоску.

– Ты гляди, парень, – уже жестко и зло продолжал старик, – я с тобой не так загутарю. Степан нам сосед, и с его бабой не дозволю баловать. Тут дело может до греха разыграть, а я наперед упрещаю: примечу – запорю!

Пантелей Прокофьевич ссучил пальцы в узловатый кулак, – жмуря выпуклые глаза, глядел, как с лица сына сливала кровь.

– Наговоры, – глухо, как из воды, буркнул Григорий и прямо в синеватую переносицу поглядел отцу.

– Ты помалкивай.

– Мало что люди гутарят...

– Цыц, сукин сын!

Григорий слег над веслом. Баркас заходил скачками. Завитушками заплясала люлюкающая за кормой вода.

До пристани молчали оба. Уже подъезжая к берегу, отец напомнил:

– Гляди, не забудь, а нет – с нынешнего дня прикрыть все игрища. Чтоб с базу ни шагу. Так-то!

Промолчал Григорий. Примыкая баркас, спросил:

– Рыбу бабам отдать?

– Понеси купцам продай, – помягчел старик, – на табак разживешься.

Покусывая губы, шел Григорий позади отца. «Выкуси, батя, хоть стреноженный уйду ноне на игрище», – думал, злобно обгрызая глазами крутой отцовский затылок.

Дома Григорий заботливо смыл с сазаньей чешуи присохший песок, продел сквозь жабры хворостинку.

У ворот столкнулся с давнишним другом-одногодком Митькой Коршуновым. Идет Митька, играет концом наборного пояска. Из узеньких щелок желто маслятся круглые с наглинкой глаза. Зрачки – кошачьи, поставленные торчмя, оттого взгляд Митькин текуч, неуловим.

– Куда с рыбой?

– Нонешняя добыча. Купцам несу.

– Моховым, что ли?

– Им.

Митька на глазок взвесил сазана.

– Фунтов пятнадцать?

– С половиной. На безмене прикинул.

– Возьми с собой, торговаться буду.

– Пойдем.

– А магарыч?

– Сладимся, нечего впустую брехать.

От обедни рассыпался по улицам народ.

По дороге рядышком вышагивали три брата по кличке Шамили.

Старший, безрукий Алексей, шел в середине. Тугой воротник мундира прямил ему жилистую шею, редкая, курчавым клинышком, бороденка задорно топорщилась вбок, левый глаз нервически подмаргивал. Давно на стрельбище разорвало в руках Алексея винтовку, кусок затвора изуродовал щеку. С той поры глаз к делу и не к делу подмигивает; голубой шрам, перепавшая щеку, зарывается в кудели волос. Левую руку оторвало по локоть, но и одной крутит Алексей сигарки искусно и без промаха: прижмет кисет к выпуклому заслону груди, зубами оторвет нужный клочок бумаги, согнет его желобком, нагребет табаку и неуловимо поведет пальцами, скручивая. Не успеет человек оглянуться, а Алексей, помаргивая, уже жует готовую сигарку и просит огоньку.

Хоть и безрукий, а первый в хуторе кулачник. И кулак не особенно чтоб особенный – так, с тыкву-травянку величиной; а случилось как-то на пахоте на быка осерчать, кнут затерялся, стукнул кулаком – лег бык на борозде, из ушей кровь, насилу отлежался. Остальные братья – Мартин и Прохор – до мелочей схожи с Алексеем. Такие же низкорослые, шириной в дуб, только рук у каждого по паре.

Григорий поздоровался с Шамилями, Митька прошел, до хруста отвернув голову. На масленице в кулачной стенке не пожалел Алешка Шамиль молодых Митькиных зубов, махнул наотмашь, и выплюнул Митька на сизый, изодранный коваными каблуками лед два коренных зуба.

Равняясь с ними, Алексей мигнул раз пять подряд.

– Продай чурбака!

– Купи.

– Почем просишь?

– Пару быков да жену в придачу.

Алексей, шурясь, замахал обрубком руки:

– Чудак, ах, чудак!.. Ох-хо-ха, жену... А приплод возьмешь?

– Себе на завод оставь, а то Шамили переведутся, – зубоскалил Григорий.

На площади у церковной ограды кучился народ. В толпе ктитора¹, поднимая над головой гуся, выкрикивал: «Полтинник! От-да-ли. Кто больше?»

Гусь вертел шеей, презрительно жмурил бирюзинку глаза.

В кругу рядом махал руками седенький, с крестами и медалями, завесившими грудь, старичок.

– Наш дед Гришака про турецкую войну брешет. – Митька указал глазами. – Пойдем послушаем?

– Покель будем слухать – сазан провоняется, распухнет.

– Распухнет – весом прибавит, нам выгода.

На площади, за пожарным сараем, где рассыхаются пожарные бочки с обломанными оглоблями, зеленеет крыша моховского дома. Шагая мимо сарая, Григорий сплюнул и зажал нос. Из-за бочки, застегивая шаровары – пряжка в зубах, – вылезал старик.

– Приспичило? – съязвил Митька.

Старик управился с последней пуговицей и вынул изо рта пряжку.

– А тебе что?

– Носом навтыкать бы надо! Бородой! Бородой! Чтоб старуха за неделю не отбанила.

– Я тебе, стерва, навтыкаю! – обиделся старик.

Митька стал, шуря кошачьи глаза, как от солнца.

– Ишь ты, благородный какой. Сгинь, сукин сын! Что присучился? А то и ремнем!

Посмеиваясь, Григорий подошел к крыльцу моховского дома. Перила – в густой резьбе дикого винограда. На крыльце пятнистая ленивая тень.

¹ Ктитор – церковный староста.

– Во, Митрий, живут люди...

– Ручка и то золоченая. – Митька приоткрыл дверь на террасу и фыркнул: – Деда бы энтото направить сюда...

– Кто там? – окликнули их с террасы.

Робея, Григорий пошел первый. Крашенные половицы мел сазаний хвост.

– Вам кого?

В плетеной качалке – девушка. В руке блюдце с клубникой. Григорий молча глядел на розовое сердечко полных губ, сжимавших ягодку. Склонив голову, девушка оглядывала пришедших.

На помощь Григорию выступил Митька. Он кашлянул.

– Рыбки не купите?

– Рыбы? Я сейчас скажу.

Она качнула кресло, вставая, – зашлепала вышитыми, надетыми на босые ноги туфлями. Солнце просвечивало белое платье, и Митька видел смутные очертания полных ног и широкое волнующееся кружево нижней юбки. Он дивился атласной белизне оголенных икр, лишь на круглых пятках кожа молочно желтела.

Митька толкнул Григория:

– Гля, Гришка, ну и юбка... Как скло, насквозь все видать.

Девушка вышла из коридорных дверей, мягко присела на кресло.

– Пройдите на кухню.

Ступая на носках, Григорий пошел в дом. Митька, отставив ногу, жмурился на белую нитку пробора, разделявшую волосы на ее голове на два золотистых полукруга. Девушка оглядела его озорными, беспокойными глазами.

– Вы здешний?

– Тутошний.

– Чей же это?

– Коршунов.

– А звать вас как?

– Митрием.

Она внимательно осмотрела розовую чешую ногтей, быстрым движением подобрала ноги.

– Кто из вас рыбу ловит?

– Григорий, друзьяк мой.

– А вы рыбалите?

– Рыбалю и я, коль охота набредет.

– Удочками?

– И удочками рыбалим, по-нашему – притугами.

– Мне бы тоже хотелось порыбалить, – сказала она, помолчав.

– Что ж, поедем, коль охота есть.

– Как бы это устроить? Нет, серьезно?

– Вставать надо дюже рано.

– Я встану, только разбудить меня надо.

– Разбудить можно... А отец?

– Что отец? Митька засмеялся.

– Как бы за вора не почел... Собаками ишо притравит.

– Глупости! Я сплю одна в угловой комнате. Вот это окно. – Она указала пальцем. – Если придете за мной – постучите мне в окошко, и я встану.

В кухне дребанились голоса: робкий – Григория, и густой, мазутный – кухарки.

Митька, перебирая тусклое серебро казачьего пояса, молчал.

– Женаты вы? – спросила девушка, тепля затаенную улыбку.

– А что?

– Так просто, интересно.

– Нет, холостой.

Митька внезапно покраснел, а она, играя улыбкой и веточкой осыпавшейся на пол тепличной клубники, спрашивала:

– Что же, Митя, девушки вас любят?

– Какие любят, а какие и нет.

– Ска-жи-те... А отчего это у вас глаза как у кота?

– У... кота? – вконец терялся Митька.

– Вот именно, кошачьи.

– Это от матери, должно... Я тут ни при чем.

– А почему же, Митя, вас не женят?

Митька оправился от минутного смущения и, чувствуя в словах ее неувимую насмешку, замерцал желтизной глаз.

– Женилка не выросла.

Она изумленно взметнула брови, вспыхнула и встала.

С улицы по крыльцу шаги.

Ее коротенькая, таящая смех улыбка жиганула Митьку крапивой. Сам хозяин, Сергей Платонович Мохов, мягко шаркая шевровыми просторными ботинками, с достоинством пронес мимо посторонившегося Митьки свое полнеющее тело.

– Ко мне? – спросил, пройдя, не поворачивая головы.

– Это, папа, рыбу принесли.

Вышел с порожними руками Григорий.

III

Григорий пришел с игрищ после первых кочетов. Из сенцев пахнуло на него запахом перекиших хмелин и пряной сухменью богородицыной травки.

На цыпочках прошел в горницу, разделся, бережно повесил праздничные, с лампасами, шаровары, перекрестился, лег. На полу – перерезанная крестом оконного переплета золотая дрема лунного света. В углу под расшитыми полотенцами тусклый глянец серебряных икон, над кроватью на подвеске тягучий гуд потревоженных мух.

Задремал было, но в кухне заплакал братнин ребенок.

Немазаной арбой заскрипела люлька. Дарья сонным голосом бормотнула:

– Цыц ты, поганое дите! Ни сну тебе, ни покою, – запела тихонько:

– Колода-дуда,

Иде ж ты была?

– Коней стерегла.

– Чего выстерегла?

– Коня с седлом,

С золотым махром...

Григорий, засыпая под мерный баюкающий скрип, вспомнил: «А ить завтра Петру в лагерь выходить. Останется Дашка с дитем... Косить, должно, без него будем».

Зарылся головой в горячую подушку, в уши назойливо сочится:

– А иде ж твой конь?

- За воротами стоит.
- А иде ж ворота?
- Вода унесла.

Встряхнуло Григория залиvistое конское ржанье. По голосу угадал Петрова строевого коня.

Обессиленными со сна пальцами долго застегивал рубаху, опять почти уснул под текучую зыбь песни:

- А иде ж гуси?
- В камыш ушли.
- А иде ж камыш?
- Девки выжали.
- А иде ж девки?
- Девки замуж ушли.
- А иде ж казаки?
- На войну пошли...

Разбитый сном, добрался Григорий до конюшни, вывел коня на проулок. Щекотнула лицо налетевшая паутина, и неожиданно пропал сон.

По Дону наискось – волнистый, никем не езженный лунный шлях. Над Доном – туман, а сверху звездное просо. Конь позади сторожко переставляет ноги. К воде спуск дурной. На той стороне утиный крик, возле берега в тине взвернул и бухнул по воде омахом охотящийся на мелочь сом.

Григорий долго стоял у воды. Прелью сырой и пресной дышал берег. С конских губ ронялась дробная капель. На сердце у Григория сладостная пустота. Хорошо и бездумно. Возвращаясь, глянул на восход, там уже рассосалась синяя полутьма.

Возле конюшни столкнулся с матерью.

- Это ты, Гришка?
- А то кто ж.
- Коня поил?
- Поил, – нехотя отвечает Григорий.

Откинувшись назад, несет мать в завеске на затоп кизяки, шаркает старчески дряблыми босыми ногами.

– Сходил бы Астаховых побудил. Степан с нашим Петром собирался ехать.

Прохлада вкладывает в Григория тугую дрожащую пружину. Тело в колючих мурашках. Через три порожка взбегает к Астаховым на гулкое крыльцо. Дверь не заперта. В кухне на разостланной полсти спит Степан, под мышкой у него голова жены.

В поредевшей темноте Григорий видит взбитую выше колен Аксиныну рубаху, березово-белые, бесстыдно раскинутые ноги. Он секунду смотрит, чувствуя, как сохнет во рту и в чугунном звоне пухнет голова.

Воровато повел глазами. Зачужавшим голосом хрипло:

– Эй, кто тут есть? Вставайте!

Аксинья всхлипнула со сна.

– Ой, кто такое? Ктой-то? – Суетливо зашарила, забилась в ногах голая ее рука, натягивая рубаху. Осталось на подушке пятнышко уроненной во сне слюны; крепок зоревой бабий сон.

– Это я. Мать послала побудить вас...

– Мы зараз... Тут у нас не влезешь... От блох на полу спим. Степан, вставай, слышишь?

По голосу Григорий догадывается, что ей неловко, и спешит уйти.

Из хутора в майские лагеря уходило человек тридцать казаков. Место сбора – плац. Часам к семи к плацу потянулись повозки с брезентовыми будками, пешие и конные казаки в майских парусиновых рубахах, в снаряжении.

Петро на крыльце наспех сшивал треснувший чембур. Пантелей Прокофьевич похаживал возле Петрова коня, подсыпая в корыто овес, изредка покрикивал:

– Дуняшка, сухари зашила? А сало пересыпала солью?

Вся в румянном цвету, Дуняшка ласточкой чертила баз от стряпки к куреню, на окрики отца, смеясь, отмахивалась:

– Вы, батя, свое дело управляйте, а я братушке так уложу, что до Черкасского не ворохнется.

– Не поел? – осведомлялся Петро, слюнявя дратву и кивая на коня.

– Жует, – степенно отвечал отец, шершавой ладонью проверяя потники. Малое дело – крошка или былка прилипнет к потнику, а за один переход в кровь потрет спину коню.

– Доисть Гнедой – попоите его, батя.

– Гришка к Дону сводит. Эй, Григорий, веди коня!

Высокий поджарый донец с белой на лбу вызвездью пошел играючись. Григорий вывел его за калитку, чуть тронув левой рукой холку, вскочил на него и с места – машистой рысью. У спуска хотел придержать, но конь сбился с ноги, зачастил, пошел под гору наметом. Откинувшись назад, почти лежа на спине коня, Григорий увидел спускавшуюся под гору женщину с ведрами. Свернул со стежки и, обгоняя взбаламученную пыль, врезался в воду.

С горы, покачиваясь, сходила Акси́нья, еще издали голосисто крикнула:

– Чертяка бешеный! Чудок конем не стоптал! Вот погоди, я скажу отцу, как ты едешь.

– Но-но, соседка, не ругайся. Проводишь мужа в лагеря, может, и я в хозяйстве сгожусь.

– Как-то ни черт, нужен ты мне!

– Зачнется покос – ишо попросишь, – смеялся Григорий. Акси́нья с подмостей ловко зачерпнула на коромысле ведро воды и, зажимая промеж колен надутую ветром юбку, глянула на Григория.

– Что ж, Степан твой собрался? – спросил Григорий.

– А тебе чего?

– Какая ты... Спросить, что ль, нельзя?

– Собрался. Ну?

– Остаешься, стал быть, жалмеркой?

– Стал быть, так.

Конь оторвал от воды губы, со скрипом пожевал стекавшую воду и, глядя на ту сторону Дона, ударил по воде передней ногой. Акси́нья зачерпнула другое ведро; перекинув через плечо коромысло, легкой раскачкой пошла на гору. Григорий тронул коня следом. Ветер трепал на Акси́нье юбку, перебирал на смуглой шее мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле волос пламенела расшитая цветным шелком шлычка, розовая рубаха, заправленная в юбку, не морщинаясь, охватывала крутую спину и налитые плечи. Поднимаясь в гору, Акси́нья клонилась вперед, ясно вылегала под рубахой продольная ложбинка на спине. Григорий видел бурые круги слинявшей под мышками от пота рубахи, провожал глазами каждое движение. Ему хотелось снова заговорить с ней.

– Небось, будешь скучать по мужу? А?

Акси́нья на ходу повернула голову, улыбнулась.

– А то как же. Ты вот женись, – переводя дух, она говорила прерывисто, – женись, а посла узнаешь, скучают ай нет по дружечке.

Толкнув коня, равняясь с ней, Григорий заглянул ей в глаза:

– А ить иные бабы ажник рады, как мужей проводят. Наша Дарья без Петра толстеть zaczynaет.

Аксинья, двигая ноздрями, резко дышала; поправляя волосы, сказала:

– Муж – он не уж, а тянет кровя. Тебя-то скоро обженем?

– Не знаю, как батя. Должно, после службы.

– Молодой ишо, не женись.

– А что?

– Сухота одна. – Она глянула исподлобья: не разжимая губ, скупно улыбнулась. И тут в первый раз заметил Григорий, что губы у нее бесстыдно-жадные, пухловатые.

Он, разбирая гриву на прядки, сказал:

– Охоты нету жениться. Какая-нибудь и так полюбит.

– Ай приметил?

– Чего мне примечать... Ты вот проводишь Степана...

– Ты со мной не заигрывай!

– Ушибешь?

– Степану скажу словцо...

– Я твоего Степана...

– Гляди, храбрый, слеза капнет.

– Не пужай, Аксинья!

– Я не пужаю. Твое дело с девками. Пуцай утирки тебе вышивают, а на меня не заглядывайся.

– Нарошно буду глядеть.

– Ну и гляди.

Аксинья примиряюще улыбнулась и сошла со стезки, норовя обойти коня. Григорий повернул его боком, загородил дорогу.

– Пусти, Гришка!

– Не пуцу.

– Не дури, мне надо мужа собирать.

Григорий, улыбаясь, горячил коня; тот, переступая, теснил Аксинью к яру.

– Пусти, дьявол, вон люди! Увидют, что подумают?

Она метнула по сторонам испуганным взглядом и прошла, хмурясь и не оглядываясь.

На крыльце Петро прощался с родными. Григорий заседлал коня. Придерживая шашку, Петро торопливо сбежал по порожкам, взял из рук Григория поводья.

Конь, чуя дорогу, беспокойно переступал, пенил, гоняя во рту, мундштук. Поймав ногой стремя, держась за луку, Петро говорил отцу:

– Лысых работой не нури, батя! Заосеняет – продадим. Григорию ить коня справлять. А степную траву, гляди, не продавай: в лугу ноне, сам знаешь, какие сена будут.

– Ну, с богом. Час добрый, – проговорил старик, крестясь. Петро привычным движением вскинул в седло свое сбитое тело, поправил позади складки рубахи, стянутые пояском. Конь пошел к воротам. На солнце тускло блеснула головка шашки, подрагивавшая в такт шагам.

Дарья с ребенком на руках пошла следом. Мать, вытирая рукавом глаза и углом завески покрасневший нос, стояла посреди база.

– Братушка, пирожки! Пирожки забыл!.. Пирожки с картошкой!..

Дуняшка козой скакнула к воротам.

– Чего орешь, дура! – досадливо крикнул на нее Григорий.

– Остались пирожки-и! – прислонясь к калитке, стонала Дуняшка, и на измазанные горячие щеки, а со щек на будничную кофтенку – слезы.

Дарья из-под ладони следила за белой, занавешенной пылью рубахой мужа. Пантелей Прокофьевич, качая подгнивший столб у ворот, глянул на Григория.

– Ворота возмись поправь да стоянок на углу врой. – Подумав, добавил, как новость сообщил: – Уехал Петро.

Через плетень Григорий видел, как собирался Степан. Принаряженная в зеленую шерстяную юбку Аксинья подвела ему коня. Степан, улыбаясь, что-то говорил ей. Он не спеша, по-хозяйски, поцеловал жену и долго не снимал руки с ее плеча. Сожженная загаром и работой рука угольно чернела на белой Аксиньиной кофточке. Степан стоял к Григорию спиной; через плетень было видно его тугую, красиво подбритую шею, широкие, немного вислые плечи и – когда наклонялся к жене – закрученный кончик русого уса.

Аксинья чему-то смеялась и отрицательно качала головой. Рослый вороной конь качнулся, подняв на стремени седока. Степан выехал из ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый, а Аксинья шла рядом, держась за стремя, и снизу вверх, любовно и жадно, по собачьи заглядывала ему в глаза.

Так миновали они соседний курень и скрылись за поворотом.

Григорий провожал их долгим, неморгающим взглядом.

IV

К вечеру собралась гроза. Над хутором стала бурая туча. Дон, взлохмаченный ветром, кидал на берега гребнистые частые волны. За левадами палила небо сухая молния, давил землю редкими раскатами гром. Под тучей, раскрылатившись, колесил коршун, его с криком преследовали вороны. Туча, дыша холодком, шла вдоль по Дону, с запада. За займищем грозно чернело небо, степь выжидаяще молчала. В хуторе хлопали закрываемые ставни, от вечерни, крепясь, спешили старухи, на плацу колыхался серый столбище пыли, и отягощенную внешней жарою землю уже засевали первые зерна дождя.

Дуняшка, болтая косичками, проглотила по базу, захлопнула дверцу курятника и стала посреди база, раздувая ноздри, как лошадь перед препятствием. На улице взбрыкивали ребятишки. Соседский восьмилеток Мишка вертелся, приседая на одной ноге, – на голове у него, закрывая ему глаза, кружился непомерно просторный отцовский картуз, – и пронзительно верещал:

Дождюк, дождюк, припусти.
Мы поедем во кусты,
Богу молиться,
Христу поклониться.

Дуняшка завистливо глядела на босые, густо усыпанные цыпками Мишкины ноги, ожесточенно топтавшие землю. Ей тоже хотелось приплясывать под дождем и мочить голову, чтоб волос рос густой и курчавый; хотелось вот так же, как Мишкиному товарищу, укрепиться на придорожной пыли вверх ногами, с риском свалиться в колючки, – но в окно глядела мать, сердито шлепая губами. Вздохнув, Дуняшка побежала в курень. Дождь спустился ядреный и частый. Над самой крышей лопнул гром, осколки покатались за Дон.

В сенях отец и потный Гришка тянули из боковушки скатанный бредень.

– Ниток суровых и иглу-цыганку, шибко! – крикнул Дуняшке Григорий.

В кухне зажгли огонь. Зашивать бредень села Дарья. Старуха, укачивая дитя, бурчала:

– Ты, старый, сроду на выдумки. Спать ложились бы, гас² все дорожает, а ты жгешь. Какая теперича ловля? Куда вас чума понесет? Ишо перетопнете, там ить на базу страсть господня. Ишь, ишь как полыхает! Господи Иисусе Христе, царица небес...

² Гас – керосин.

В кухне на секунду стало ослепительно сине и тихо: слышно было, как ставни царапали дождь, – следом ахнул гром. Дуняшка пискнула и ничком ткнулась в бредень. Дарья мелкими крестиками обмахивала окна и двери.

Старуха страшными глазами глядела на ластившуюся у ног ее кошку.

– Дунька! Го-о-ни ты ее, прок... царица небесная, прости меня, грешницу. Дунька, кошку выкинь на баз. Брысь ты, нечистая сила! Чтоб ты...

Григорий, уронив комол бредня, трясся в беззвучном хохоте.

– Ну, чего вы вскагакались? Цыцте! – прикрикнул Пантелей Прокофьевич. – Бабы, живо зашивайте! Надесь ишо говорил: оглядите бредень.

– И какая теперя рыба, – заикнулась было старуха.

– Не разумеешь – молчи! Самое стерлядей на косе возьмем. Рыба к берегу зараз идет, боится бурю. Вода, небось, уж мутная пошла. Ну-ка, выбеги, Дуняшка, послухай – играет ерик?

Дуняшка нехотя, бочком, подвинулась к дверям.

– Кто ж бродить пойдет? Дарье нельзя, может груди застудить, – не унималась старуха.

– Мы с Гришкой, а с другим бреднем – Аксинью покличем, кого-нибудь ишо из баб.

Запыхавшись, вбежала Дуняша. На ресницах, подрагивая, висели дождевые капельки. Пахнуло от нее отсыревшим черноземом.

– Ерик гудет, ажник страшно!

– Пойдешь с нами бродить?

– А ишо кто пойдет?

– Баб покличем.

– Пойду!

– Ну, накинь зипун и скачи к Аксинье. Ежели пойдет, пущай покличет Малашку Фролову!

– Энта не замерзнет, – улыбнулся Григорий, – на ней жиру, как на добром борове.

– Ты бы сенца сухого взял, Гришунька, – советовала мать, – под сердце подложишь, а то нутрѣ застудишь.

– Григорий, мотай за сеном. Старуха верное слово сказала.

Вскоре привела Дуняшка баб. Аксинья, в рваной подпоясанной веревкой кофтенке и в синей исподней юбке, выглядела меньше ростом, худее. Она, пересмеиваясь с Дарьей, сняла с головы платок, потуже закрутила в узел волосы и, покрываясь, откинув голову, холодно оглядела Григория. Толстая Малашка подвизывала у порога чулки, хрипела простуженно:

– Мешки взяли? Истинный бог, мы ноне шатанем рыбы.

Вышли на баз. На размякшую землю густо лил дождь, пенил лужи, потоками сползал к Дону.

Григорий шел впереди. Подмывало его беспричинное веселье.

– Гляди, батя, тут канава.

– Эка темень-то!

– Держись, Аксюша, при мне, вместе будем в тюрьме, – хрипло хохочет Малашка.

– Гляди, Григорий, никак, Майданниковых пристань?

– Она и есть.

– Отсель... зачинать... – осиливая хлобыстающий ветер, кричит Пантелей Прокофьевич.

– Не слышно, дяденька! – хрипит Малашка.

– Заброди, с богом... Я от глуби. От глуби, говорю... Малашка, дьявол глухой, куда тянешь? Я пойду от глуби!.. Григорий, Гришка! Аксинья пущай от берега!

У Дона стонущий рев. Ветер на ключья рвет косое полотнище дождя.

Ощупывая ногами дно, Григорий по пояс окунулся в воду. Липкий холод дополз до груди, обручем стянул сердце. В лицо, в накрепко зажмуренные глаза, словно кнутом, стегает волна. Бредень надувается шаром, тянет вглубь. Обутые в шерстяные чулки ноги Григория скользят

по песчаному дну. Комол рвется из рук... Глубже, глубже. Уступ. Срываются ноги. Течение порывисто несет к середине, всасывает. Григорий правой рукой с силой гребет к берегу. Черная колышущаяся глубина пугает его, как никогда. Нога радостно наступает на зыбкое дно. В колено стучается какая-то рыба.

– Обходи глубе! – откуда-то из вязкой черни голос отца.

Бредень, накренившись, опять ползет в глубину, опять течение рвет из-под ног землю, и Григорий, задирая голову, плывет, отплевывается.

– Аксинья, жива?

– Жива куда.

– Никак, перестает дождик?

– Маленький перестает, зараз большой тронется.

– Ты потихоньку. Отец услышит – ругаться будет.

– Испужался отца, тоже...

С минуту тянут молча. Вода, как липкое тесто, вяжет каждое движение.

– Гриша, у берега, кубыть, карша. Надоть обвесть.

Страшный толчок далеко отшвыривает Григория. Грохочущий всплеск, будто с яра рухнула в воду глыбища породы.

– А-а-а-а! – где-то у берега визжит Аксинья.

Перепуганный Григорий, вынырнув, плывет на крик.

– Аксинья!

Ветер и текущий шум воды.

– Аксинья! – холодея от страха, кричит Григорий.

– Э-гей! Гри-го-ри-ий! – издали приглушенный отцов голос.

Григорий кидает взмахи. Что-то вязкое под ногами, схватил рукой: бредень.

– Гриша, где ты?.. – плачущий Аксинын голос.

– Чего ж не откликлась-то?.. – сердито орет Григорий, на четвереньках выбираясь на берег.

Присев на корточки, дрожа, разбирают спутанный комом бредень. Из прорехи разорванной тучи вылупливается месяц. За займищем сдержанно поговаривает гром. Лоснится земля непитанной влагой. Небо, выстиранное дождем, строго и ясно.

Распутывая бредень, Григорий всматривается в Аксинию. Лицо ее медово-бледно, но красные, чуть вывернутые губы уже смеются.

– Как оно меня шибанет на берег, – переводя дух, рассказывает она, – от ума отошла. Спужалась до смерти! Я думала – ты утоп.

Руки их сталкиваются. Аксинья пробует просунуть свою руку в рукав его рубахи.

– Как у тебя тепло-то в рукаве, – жалобно говорит она, – а я замерзла. Колики по телу пошли.

– Вот он, проклятуший сомяга, где саданул!

Григорий раздвигает на середине бредня дыру аршина полтора в поперечнике.

От косы кто-то бежит. Григорий угадывает Дуняшку. Еще издали кричит ей:

– Нитки у тебя?

– Туточка.

Дуняшка, запыхавшись, подбегает.

– Вы чего ж тут сидите? Батянька прислал, чтоб скорей шли к косе. Мы там мешок стерлядей наловили! – В голосе Дуняшки нескрываемое торжество.

Аксинья, лязгая зубами, зашивает дыру в бредне. Рысью, чтобы согреться, бегут на косу.

Пантелей Прокофьевич крутит сигарку рубчатыми от воды и пухлыми, как у утопленника, пальцами; приплясывая, хвалится:

– Раз забрели – восемь штук, а другой раз... – Он делает передышку, закуривает и молча показывает ногой на мешок.

Аксинья с любопытством заглядывает. В мешке скрежещущий треск: трется живучая стерлядь.

– А вы чего ж отбились?

– Сом бредень просадил.

– Зашили?

– Кое-как, ячейки посцепили...

– Ну дойдем до колена и – домой. Забредай, Гришка, чего ж взноровился?

Григорий переступает одеревеневшими ногами. Аксинья дрожит так, что дрожь ее ощущает Григорий через бредень.

– Не трясись!

– И рада б, да духу не переведу.

– Давай вот что... Давай вылазить, будь она проклята, рыба эта!

Крупный сазан бьет через бредень. Учащая шаг, Григорий загибает бредень, тянет комол, Аксинья, согнувшись, выбегает на берег. По песку шуршит схлынувшая назад вода, трепещет рыба.

– Через займище пойдем?

– Лесом ближе. Эй, вы, там, скоро?

– Идите, догоним. Бредень вот пополоскаем.

Аксинья, морщась, выжала юбку, подхватила на плечи мешок с уловом, почти рысью пошла по косе. Григорий нес бредень. Прошли саженой сто, Аксинья заохала:

– Моченьки моей нету! Ноги с пару зашлись.

– Вот прошлогодняя копна, может, погреешься?

– И то. Покуда до дому дотянешь – помереть можно. Григорий свернул набок шапку копны, вырыл яму. Слежалое сено ударило горячим запахом прели.

– Лезь в середку. Тут – как на печке.

Аксинья, кинув мешок, по шее зарылась в сено.

– То-то благодать!

Подрагивая от холода, Григорий прилег рядом. От мокрых Аксиньиных волос тек нежный, волнующий запах. Она лежала, запрокинув голову, мерно дыша полуоткрытым ртом.

– Волосы у тебя дурнопахнущим пахнут. Знаешь, таким цветком белым... – шепнул, наклонясь, Григорий.

Она промолчала. Туманен и далек был взгляд ее, устремленный на ущерб стареющего месяца.

Григорий, выпростав из кармана руку, внезапно притянул ее голову к себе. Она резко рванулась, привстала.

– Пусти!

– Помалкивай.

– Пусти, а то зашумлю!

– Погоди, Аксинья...

– Дядя Пантелей!..

– Ай заблудилась? – совсем близко, из зарослей боярышника, отозвался Пантелей Прокофьевич.

Григорий, сомкнув зубы, прыгнул с копны.

– Ты чего шумишь? Ай заблудилась? – подходя, переспросил старик.

Аксинья стояла возле копны, поправляя сбитый на затылок платок, над нею дымился пар.

– Заблудиться-то нет, а вот было-к замерзнула.

– Тю, баба, а вот, гля, копна. Посогрейся.

Аксинья улыбнулась, нагнувшись за мешком.

V

До хутора Сетракова – места лагерного сбора – шестьдесят верст. Петро Мелехов и Астахов Степан ехали на одной бричке. С ними еще трое казаков-хуторян: Федот Бодовсков – молодой калмыковатый и рябой казак, второочередник лейб-гвардии Атаманского полка Хрисанф Токин, по прозвищу Христоня, и батареец Томилин Иван, направлявшийся в Персиановку. В бричку после первой же кормежки запрягли двухвершкового³ Христониного коня и Степанового вороного. Остальные три лошади, оседланные, шли позади. Правил здоровенный и дурковатый, как большинство атаманцев, Христоня. Колесом согнув спину, сидел он впереди, заслонял в будку свет, пугал лошадей гулким октавистым басом. В бричке, обтянутой новеньким брезентом, лежали, покуривая, Петро Мелехов, Степан и батареец Томилин. Федот Бодовсков шел позади; видно, не в тягость было ему втыкать в пыльную дорогу кривые свои калмыцкие ноги.

Христониная бричка шла головной. За ней тянулись еще семь или восемь запряжек с привязанными оседланными и не оседланными лошадьми.

Вихрились над дорогой хохот, крики, тягучие песни, конское порсканье, перезвяк порожних стремян.

У Петра в головах сухарный мешок. Лежит Петро и крутит желтый длиннющий ус.

– Степан!

– А?

– ...на! Давай служивскую заиграем?

– Жарко дюже. Ссохлось все.

– Кабаков нету на ближних хуторах, не жди!

– Ну, заводи. Да ты ить не мастак. Эх, Гришка ваш дишканит! Потянет, чисто нитка серебряная, не голос. Мы с ним на игрищах драли.

Степан откидывает голову, – прокашлявшись, заводит низким звучным голосом:

Эх ты, зоренька-зарница,
Рано на небо возшла...

Томилин по-бабьи прикладывает к щеке ладонь, подхватывает тонким, стеньящим подголоском. Улыбаясь, заправив в рот усину, смотрит Петро, как у грудастого батарейца синеют от усилия узелки жил на висках.

Молодая, вот она, бабенка
Поздно по воду пошла...

Степан лежит к Христоне головой, поворачивается, опираясь на руку; тугая красивая шея розовеет. – Христоня, подмоги!

А мальчишка, он догадался,
Стал коня свово седлать...

³ Двухвершковый конь – конь ростом в два аршина и два вершка. В царскую армию казак обязан был явиться со своим конем не ниже двух аршин и полвершка.

Степан переводит на Петра улыбающийся взгляд выпученных глаз, и Петро, вытянув изо рта усину, присоединяет голос.

Христоня, разинув непомерную залохматевшую щетиной пасть, ревет, сотрясая брезентовую крышу будки:

Оседлал коня гнедого —
Стал бабенку догонять...

Христоня кладет на ребро аршинную босую ступню, ожидает, пока Степан начнет вновь. Тот, закрыв глаза – потное лицо в тени, – ласково ведет песню, то снижая голос до шепота, то вскидывая до металлического звона:

Ты позволь, позволь, бабенка,
Коня в речке напоить...

И снова колокольню-набатным гудом давит Христоня голоса. Вливаются в песню голоса и с соседних бричек. Поцокивают колеса на железных ходах, чихают от пыли кони, тягучая и сильная, полой водой, течет над дорогой песня. От высыхающей степной музги, из горелой коричневой куги взлетывает белокрылый чибис. Он с криком летит в лощину; поворачивая голову, смотрит изумрудным глазком на цепь повозок, обтянутых белым, на лошадей, кудрявящих смачную пыль копытами, на шагающих по обочине дороги людей в белых, просмоленных пылью рубахах. Чибис падает в лощине, черной грудью ударяет в подсыхающую, примятую зверем траву – и не видит, что творится на дороге. А по дороге так же громят брички, так же нехотя переступают запотевшие под седлами кони; лишь казаки в серых рубахах быстро перебегают от своих бричек к передней, грудятся вокруг нее, стонут в хохоте.

Степан во весь рост стоит на бричке, одной рукой держится за брезентовый верх будки, другой коротко взмахивает; сыплет мельчайшей, подмывающей скороговоркой:

Не садися возле меня,
Не садися возле меня,
Люди скажут – любишь меня,
Любишь меня,
Ходишь ко мне,
Любишь меня,
Ходишь ко мне,
А я роду не простого...

Десятки грубых голосов хватают на лету, ухают, стелют на придорожную пыль:

А я роду не простого
Не простого —
Воровского,
Воровского —
Не простого,
Люблю сына князевского...

Федот Бодовсков свишет; приседая, рвутся из постромок кони; Петро, высываясь из будки, смеется и машет фуражкой; Степан, сверкая ослепительной усмешкой, озорно поводит плечами; а по дороге бугром движется пыль; Христоня, в распоясанной длиннющей рубахе,

патлатый, мокрый от пота, ходит впрыскаду, кружится маховым колесом, хмурясь и стоная, делает казачка, и на сером шелковые пыли остаются чудовищные разлапистые следы босых его ног.

VI

Возле лобастого, с желтой песчаной лысиной кургана остановились ночевать.

С запада шла туча. С черного ее крыла сочился дождь. Поили коней в пруду. Над плоутиной горбатились под ветром унылые вербы. В воде, покрытой застойной зеленью и чешуей убогих волн, отражаясь, коверкалась молния. Ветер скупно кропил дождевыми каплями, будто милостыню сыпал на черные ладони земли.

Стреноженных лошадей пустили на попас, назначив в караул трех человек. Остальные разводили огни, вешали котлы на дышла бричек.

Христоня кашеварил. Помешивая ложкой в котле, рассказывал сидевшим вокруг казакам:

– ...Курган, стал быть, высокий, навроде этого. Я и говорю покойничку батя: «А что, атаман⁴ не забастует нас за то, что без всякого, стал быть, дозволенья зачнем курган потрошить?»

– Об чем он тут брешет? – спросил вернувшийся от лошадей Степан.

– Рассказываю, как мы с покойничком батей, царство небесное старику, клад искали.

– Где же вы его искали?

– Это, браток, аж за Фетисовой балкой. Да ты знаешь – Меркулов курган...

– Ну-ну... – Степан присел на корточки, положил на ладонь уголек. Плямкая губами, долго прикуривал, катал его по ладони.

– Ну, вот. Стал быть, батя говорит: «Давай, Христан, раскопаем Меркулов курган». От деда слышал он, что в нем зарытый клад. А клад, стал быть, не каждому в руки дается. Батя сулил богу: отдашь, мол, клад – церкву прекрасную выстрою. Вот мы порешили и поехали туда. Земля станишная – сумнение от атамана могло только быть. Приезжаем к ночи. Дождались, покель смеркнется, кобылу, стал быть, стреножили, сами с лопатами залезли на макушку. Зачали бузовать прямо с темечка. Вырыли яму аршина в два, земля – чисто каменная, захрясла от давности. Взмок я. Батя все молитвы шепчет, а у меня, братцы, верите, до того в животе бурчит... В летнюю пору, стал быть, харч вам звестный: кислое молоко да квас... Перехватит поперек живот, смерть в глазах – и все! Батя-покойничек, царство ему небесное, и говорит: «Фу, говорит, Христан, и поганец ты! Я молитву прочитываю, а ты не могешь пищу сдерживать, дыхнуть, стал быть, нечем. Иди, говорит, слазь с кургана, а то я тебе голову лопатой срублю. Через тебя, поганца, клад может в землю уйтить». Я лег под курганом и страдаю животом, взяло на колотье, а батя-покойничек – здоровый был, чертяка! – копает один. И дорылся он до каменной плиты. Кличет меня. Я, стал быть, подовздел ломом, поднял эту плиту... Верите, братцы, ночь месячная была, а под плитой так и блестит...

– Ну, и брешешь ты, Христоня! – не вытерпел Петро, улыбаясь и дергая ус.

– Чего «брешешь»? Пошел ты к тетери-ятери! – Христоня поддернул широленные шаровары и оглядел слушателей. – Нет, стал быть, не брешу! Истинный бог – правда!

– К берегу-то прибивайся!

⁴ Атаман – у казаков в царской России так назывался выборный начальник всех степеней. Во главе Донского войска стоял войсковой атаман, во главе станиц – станичные атаманы, при выступлении казацкого отряда в поход выбирался особый, походный атаман. В широком смысле это слово значило – старшина. С окончательной утратой самостоятельности донского казачества звание атамана всех казачьих войск было присвоено наследнику престола; фактически казачьими войсками управляли наказные (то есть назначенные) атаманы.

– Так, братцы, и блеснит. Я – глядь, а это, стал быть, сожжённый уголь. Там его было мер сорок. Батя и говорит: «Лезь, Христан, выгребай его». Полез. Кидал, кидал эту страмоту, до самого света хватило. Утром, стал быть, глядь, а он – вот он.

– Кто? – поинтересовался лежавший на попоне Томилин.

– Да атаман, кто же. Едет в пролетке: «Кто дозволил, такие-сякие?» Молчим. Он нас, стал быть, сгреб – и в станицу. Позапрошлый год в Каменскую на суд вызывали, а батя догадался – успел помереть. Отписали бумагой, что в живых его нету.

Христоня снял котел с дымившейся кашей, пошел к повозке за ложками.

– Что ж отец-то? Сулил церкву построить, да так и не построил? – спросил Степан, дождавшись, пока Христоня вернулся с ложками.

– Дурак ты, Степа, что ж он за уголья, стал быть, строил ба?

– Раз сулил – значит, должен.

– Всчет угольев не было никакого уговору, а клад...

От хохота дрогнул огонь. Христоня поднял от котла простоватую голову и, не разобрав, в чем дело, покрыл голоса остальных густым гоготом.

VII

Аксинью выдали за Степана семнадцати лет. Взяли ее с хутора Дубровки, с той стороны Дона, с песков.

За год до выдачи осенью пахала она в степи, верст за восемь от хутора. Ночью отец ее, пятидесятилетний старик, связал ей треногой руки и изнасиловал.

– Убью, ежели пикнешь слово, а будешь помалкивать – справлю плюшевую кофту и гетры с калошами. Так и помни: убью, ежели что... – пообещал он ей.

Ночью, в одной изорванной исподнице, прибежала Аксинья в хутор. Валяясь в ногах у матери, давясь рыданиями, рассказывала... Мать и старший брат, атаманец, только что вернувшийся со службы, запрягли в бричку лошадей, посадили с собой Аксинью и поехали туда, к отцу. За восемь верст брат чуть не запалил лошадей. Отца нашли возле стана. Пьяный, спал он на разостланном зипуне, около валялась порожняя бутылка из-под водки. На глазах у Аксиньи брат отцепил от брички барок, ногами поднял спящего отца, что-то коротко спросил у него и ударил окованным барком старика в переносицу. Вдвоем с матерью били его часа полтора. Всегда смирная, престарелая мать иступленно дергала на обеспамятевшем муже волосы, брат старался ногами. Аксинья лежала под бричкой, укутав голову, молча тряслась... Перед светом привезли старика домой. Он жалобно мычал, шарил по горнице глазами, отыскивая спрятавшуюся Аксинью. Из оторванного уха его стекала на подушку кровь. Вечеру он помер. Людям сказали, что пьяный упал с арбы и убили.

А через год приехали на нарядной бричке сваты за Аксинью. Высокий, крутошей и статный Степан невесте понравился, на осенний мясоед назначили свадьбу. Подошел такой предзимний, с морозцем и веселым ледозвоном день, окрутили молодых; с той поры и водворилась Аксинья в астаховском доме молодой хозяйкой. Свекровь, высокая, согнутая какой-то жестокой бабьей болезнью старуха, на другой же день после гульбы рано разбудила Аксинью, привела ее на кухню и, бесцельно переставляя рогачи, сказала:

– Вот что, милая моя сношенька, взяли мы тебя не кохаться да не вылеживаться. Иди-ка передои коров, а посла становись к печке стряпать. Я – старая, немощь одолевает, а хозяйство ты к рукам бери, за тобой оно ляжет.

В этот же день в амбаре Степан обдуманно и страшно избил молодую жену. Бил в живот, в груди, в спину; бил с таким расчетом, чтобы не видно было людям. С той поры стал он прихватывать на стороне, путался с гулящими жалмерками, уходил чуть не каждую ночь, замкнув Аксинью в амбаре или горенке.

Года полтора не прощал ей обиду: пока не родился ребенок. После этого притих, но на ласку был скуп и по-прежнему редко ночевал дома.

Большое многоскотинное хозяйство затянуло Аксиныю работой. Степан работал с леной: начесав чуб, уходил к товарищам покурить, перекинуться в картишки, побрехать о хуторских новостях, а скотину убирать приходилось Аксинье, ворочать хозяйством – ей. Свекровь была плохая помощница. Посуетившись, падала на кровать и, вытянув в нитку блеклую желть губ, глядя в потолок звереющими от боли глазами, стонала, сжималась в комок. В такие минуты на лице ее, испятнанном черными уродливо крупными родинками, выступал обильный пот, в глазах накапливались и часто, одна за другой, стекали слезы. Аксинья, бросив работу, забивалась где-нибудь в угол и со страхом и жалостью глядела на свекровьино лицо.

Через полтора года старуха умерла. Утром у Аксиныи начались предродовые схватки, а к полудню, за час до появления ребенка, свекровь умерла на ходу, возле дверей старой конюшни. Повитуха, выбежавшая из куреня предупредить пьяного Степана, чтобы не ходил к родильнице, увидела лежащую с поджатыми ногами Аксиныну свекровь.

Аксинья привязалась к мужу после рождения ребенка, но не было у нее к нему чувства, была горькая бабья жалость да привычка. Ребенок умер, не дожив до года. Старая развернулась жизнь. И когда Мелехов Гришка, заигрывая, стал Аксинье поперек пути, с ужасом увидела она, что ее тянет к черному ласковому парню. Он упорно преследовал ее своей настойчивой и ждущей любовью. И это-то упорство и было страшно Аксинье. Она видела, что он не боится Степана, нутром чуяла, что так он от нее не отступится, и, разумом не желая этого, сопротивляясь всеми силами, замечала за собой, что по праздникам и в будни стала тщательней наряжаться, обманывая себя, норовила почаще попадаться ему на глаза. Тепло и приятно ей было, когда черные Гришкины глаза ласкали ее тяжело и исступленно. На заре, просыпаясь доить коров, она улыбалась и, еще не сознавая отчего, вспоминала: «Нынче что-то есть радостное. Что же? Григорий... Гриша...» Пугало это новое, заполнявшее всю ее чувство, и в мыслях шла ошупью, осторожно, как через Дон по мартовскому ноздреватому льду.

Проводив Степана в лагерь, решила с Гришкой видаться как можно реже. После ловли бреднем решение это укрепилось в ней еще прочнее.

VIII

За два дня до троицы хуторские делили луг. На дележ ходил Пантелей Прокофьевич. Пришел оттуда в обед, кряхтя скинул чирики и, смачно почесывая натруженные ходьбой ноги, сказал:

– Досталась нам делянка возле Красного яра. Трава не особо чтоб дюже добрая. Верхний конец до лесу доходит, кой-что – голощечины. Пырейчик проскакивает.

– Когда ж косить? – спросил Григорий.

– С праздников.

– Дарью возьмете, что ль? – нахмурилась старуха.

Пантелей Прокофьевич махнул рукой – отвяжись, мол.

– Понадобится – возьмем. Полудновать-то собирай, чего стоишь, раскрылилась!

Старуха загремела заслонкой, выволокла из печи пригретые щи. За столом Пантелей Прокофьевич долго рассказывал о дележке и жуликоватом атамане, чуть было не обмошенничавшем весь сход.

– Он и энтот год смухлевал, – вступилась Дарья, – отбивали улешу, так он подговаривал все Малашку Фролову конаться.

– Стерва давнишняя, – жевал Пантелей Прокофьевич.

– Батяня, а копнить, гресть кто будет? – робко спросила Дуняшка.

– А ты чего будешь делать?

– Одной, батяня, неуправно.

– Мы Аксютку Астахову покличем. Степан надясь просил скосить ему. Надо уважить.

На другой день утром к мелеховскому базу подъехал верхом на подседланном белоногом жеребце Митька Коршунов. Побрызгивал дождь. Хмарь висела над хутором. Митька, перегнувшись в седле, открыл калитку, въехал на баз. Его с крыльца окликнула старуха.

– Ты, забурунный, чего прибег? – спросила она с видимым неудовольствием. Недолгобывала старая отчаянного и драчливого Митьку.

– И чего тебе, Ильинишна, надоть? – привязывая к перилам жеребца, удивился Митька. – Я к Гришке приехал. Он где?

– Под сараем спит. Тебя, что ж, аль паралик вдарил? Пешки, стал быть, не можешь ходить?

– Ты, тетенька, каждой дыре гвоздь! – обиделся Митька. Раскачиваясь, помахивая и щелкая нарядной плеткой по голенищам лакированных сапог, пошел он под навес сарая.

Григорий спал в снятой с передка арбе. Митька, жмуря левый глаз, словно целясь, вытянул Григория плетью.

– Вставай, мужик!

«Мужик» у Митьки было слово самое ругательное. Григорий вскинулся пружиной.

– Ты чего?

– Будя зоревать!

– Не дури, Митрий, покуда не осерчал...

– Вставай, дело есть.

– Ну?

Митька присел на грядущку арбы, обивая с сапога плетью присохшее грязцо, сказал:

– Мне, Гришка, обидно...

– Ну?

– Да как же, – Митька длинно ругнулся, – он не он, – сотник⁵, так и задается.

В сердцах он, не разжимая зубов, быстро кидал слова, дрожал ногами. Григорий привстал.

– Какой сотник?

Хватая его за рукав рубахи, Митька уже тише сказал:

– Зараз седлай коня и побегем в займище. Я ему покажу! Я ему так и сказал: «Давай, ваше благородие, опробуем». – «Веди, грит, всех друзей-товарищев, я вас всех покрою, затем что мать моей кобылы в Петербурге на офицерских скачках призы сымала». Да по мне, его кобыла и с матерью, – да будь они прокляты! – а я жеребца не дам обскакать!

Григорий наспех оделся. Митька ходил за ним по пятам; заикаясь от злобы, рассказывал:

– Приехал на гости к Мохову, купцу, энтот самый сотник. Погоди, чей он прозвищем? Кубыть, Листницкий. Такой из себя тушистый, сурьезный. Очки носит. Ну, да нехай! Даром что в очках, а жеребца не дамся обогнать!

Посмеиваясь, Григорий оседлал старую, оставленную на племя матку и через гуменные ворота – чтоб не видел отец – выехал в степь. Ехали к займищу под горой. Копыта лошадей, чавкая, жевали грязь. В займище возле высохшего тополя их ожидали конные: сотник Листницкий на поджарой красавице кобылице и человек семь хуторских ребят верхами.

– Откуда скакать? – обратился к Митьке сотник, поправляя пенсне и любясь могучими грудными мускулами Митькиного жеребца.

– От тополя до Царева пруда.

– Где это Царев пруд? – Сотник близоруко сощурился.

⁵ Офицерские чины царской армии имели следующие наименования: 1) подпоручик (в кавалерии – корнет, в казачьих войсках – хорунжий), 2) поручик (у казаков – сотник), 3) штабс-капитан (в кавалерии – штабс-ротмистр, в казачьих войсках – подъесаул), 4) капитан (в кавалерии – ротмистр, в казачьих войсках – есаул), 5) подполковник (у казаков – войсковой старшина), 6) полковник. Первые четыре ступени назывались чинами обер-офицерскими, а последние две – штаб-офицерскими.

– А вон, ваше благородие, возле леса.

Лошадей построили. Сотник поднял над головою плетку. Погон на его плече вспух бугром.

– Как скажу «три» – пускать! Ну? Раз, два... три!

Первый рванулся сотник, припадая к луке, придерживая рукой фуражку. Он на секунду опередил остальных. Митька с растеряннo-бледным лицом привстал на стременах – казалось Григорию, томительно долго опускал на круп жеребца подтянутую над головой плетку.

От тополя до Царева пруда – версты три. На полпути Митькин жеребец, вытягиваясь в стрелку, настиг кобылицу сотника. Григорий скакал нехотя. Отстав с самого начала, он ехал куцым намётом, с любопытством наблюдая за удалявшейся, разбитой на звенья цепкой скакавших.

Возле Царева пруда – наносный от внешней воды песчаный увал. Желтый верблюжий горб его чахло порос остролистым змеиным луком. Григорий видел, как на увал разом вскочили и стекли на ту сторону сотник и Митька, за ними поодиночке скользили остальные. Когда подъехал он к пруду, потные лошади уже стояли кучей, спешившиеся ребята окружали сотника. Митька лоснился сдерживаемой радостью. Торжество сквозило в каждом его движении. Сотник, против ожидания, показался Григорию нисколько не сконфуженным: он, прислонясь к дереву, покуривая папироску, говорил, указывая мизинцем на свою, словно выкупанную, кобылицу:

– Я на ней сделал пробег в полтора верст. Вчера только приехал со станции. Будь она посвежей – никогда, Коршунов, не обогнал бы ты меня.

– Моget быть, – великодушничал Митька.

– Резвей его жеребца по всей округе нету, – завидуя, сказал веснушчатый паренек, прискакавший последним.

– Конь добрячий. – Митька дрожащей от пережитого волнения рукой похлопал по шее жеребца и, деревянно улыбаясь, глянул на Григория.

Они вдвоем отделились от остальных, поехали под горою, а не улицей. Сотник попрощался с ними холодно, сунул два пальца под козырек и отвернулся.

Уже подъезжая по проулку к двору, Григорий увидел шагавшую им навстречу Аксиныю. Шла она, ошипывая хворостинку; увидела Гришку – ниже нагнула голову.

– Чего застыдилась, аль мы телешами едем? – крикнул Митька и подмигнул: – Калинушка моя, эх, горьковатенькая!

Григорий, глядя перед собой, почти проехал мимо и вдруг огрел мирно шагавшую кобылу плетью. Та присела на задние ноги – взлягнув, забрызгала Аксиныю грязью.

– И-и-и, дьявол дурной!

Круто повернув, наезжая на Аксиныю разгоряченной лошадей, Григорий спросил:

– Чего не здороваешься?

– Не стоишь того!

– За это вот и обляпал – не гордись!

– Пусти! – крикнула Аксиныя, махая руками перед мордой лошади. – Что ж ты меня конем топчешь?

– Это кобыла, а не конь.

– Все одно пусти!

– За что серчаешь, Аксютка? Неужели за надышнее, что в займище?..

Григорий заглянул ей в глаза. Аксиныя хотела что-то сказать, но в уголке черного ее глаза внезапно нависла слезинка; жалко дрогнули губы. Она, судорожно глотнув, шепнула:

– Отвяжись, Григорий... Я не серчаю... Я... – И пошла.

Удивленный Григорий догнал Митьку у ворот.

– Придешь ноне на игрище? – спросил тот.

– Нет.

– Что так? Либо ночевать покликкала?

Григорий потер ладонью лоб и не ответил.

IX

От троицы только и осталось по хуторским дворам: сухой чабрец, рассыпанный на полях, пыль мятых листьев да морщиненная, отжившая зелень срубленных дубовых и ясеневых веток, приткнутых возле ворот и крылец.

С троицы начался луговой покос. С самого утра зацвело займище праздничными бабьими юбками, ярким шитвом занавесок, красками платков. Выходили на покос всем хутором сразу. Косцы и гребельщицы одевались будто на годовой праздник. Так повелось исстари. От Дона до дальних ольховых зарослей шевелился и вздыхал под косами опустошаемый луг.

Мелеховы припозднились. Выехали на покос, когда уже на лугу была чуть не половина хутора.

– Долго зорюешь, Пантелей Прокофьевич! – шумели припотевшие косари.

– Не моя вина, бабья! – усмехался старик и торопил быков плетеным из сырца кнутом.

– Доброе здоровье, односум! Припозднился, браток, припозднился... – Высокий казак в соломенной шляпе качал головой, отбивая у дороги косу.

– Аль трава пересохнет?

– Рысью поедешь – успеешь, а то и пересохнет. Твой улеш в каком месте?

– А под Красным яром.

– Ну, погоняй рябых, а то не доедешь ноне.

Позади на арбе сидела Аксинья, закутавшая от солнца платком все лицо. Из узкой, оставленной для глаз щели она смотрела на сидевшего против нее Григория равнодушно и строго. Дарья, тоже укутанная и принаряженная, свесив между ребер арбы ноги, кормила длинной, в прожилках, грудью засыпавшего на руках ребенка. Дуняшка подпрыгивала на грядущке, счастливыми глазами разглядывая луг и встречавшихся по дороге людей. Лицо ее, веселое, тронутое загаром и у переносицы веснушками, словно говорило: «Мне весело и хорошо оттого, что день, подсиненный безоблачным небом, тоже весел и хорош; оттого, что на душе вот такой же синий покой и чистота. Мне радостно, и больше я ничего не хочу». Пантелей Прокофьевич, натягивая на ладонь рукав бязевой рубахи, вытирал набегавший из-под козырька пот. Согнутая спина его, с плотно прилипшей рубахой, темнела мокрыми пятнами. Солнце насквозь пронизывало седой каракуль туч, опускало на далекие серебряные обдонские горы, степь, займище и хутор веер дымчатых преломленных лучей.

День перекипал в зное. Обдерганные ветром тучки ползли вяло, не обгоняя тянувшихся по дороге быков Пантелея Прокофьевича. Сам он тяжело поднимал кнут, помахивал им, словно в нерешительности: ударить по острым бычьим кострецам или нет. Быки, видно, понимая это, не прибавляли шагу, так же медленно, ощупью переставляли клешнятые ноги, мотали хвостами. Пыльно-золотистый с оранжевым отливом слепень кружился над ними.

Луг, скошенный возле хуторских гумен, светлел бледно-зелеными пятнами; там, где еще не сняли травы, ветерок шершавил зеленый с глянцевитой чернью травяной шелк.

– Вот наша делянка. – Пантелей Прокофьевич махнул кнутом.

– От лесу будем зачинать? – спросил Григорий.

– Можно и с этого краю. Тут я глаголь вырубил лопатой.

Григорий отпряг занудившихся быков. Старик, посверкивая серьгой, пошел искать отметину – вырубленный у края глаголь.

– Бери косы! – вскоре крикнул он, махая рукой.

Григорий пошел, уминая траву. От арбы по траве потек за ним колыхающийся след. Пантелей Прокофьевич перекрестился на беленький стручок далекой колокольни, взял косу. Горбатый нос его блистал, как свежелакированный, во впадинах черных щек томила испарина. Он улыбнулся, разом обнажив в вороной бороде несчетное число белых, частых зубов, и занес косу, поворачивая морщинистую шею вправо. Сажненное полукружье смакнутой травы легло под его ногами.

Григорий шел за ним следом, полузакрыв глаза, стелил косой травье. Впереди рассыпанной радугой цвели бабы завески, но он искал глазами одну, белую с прошитой каймой; оглядывался на Аксинью и, снова приноравливаясь к отцову шагу, махал косой.

Аксинья неотступно была в его мыслях; полузакрыв глаза, мысленно целовал ее, говорил ей откуда-то набредавшие на язык горячие и ласковые, слова, потом отбрасывал это, шагал под счет – раз, два, три; память подсовывала отрезки воспоминаний: «Сидели под мокрой копной... в ендове свиристела турчелка... месяц над займищем... и с куста в лужину редкие капли вот так же – раз, два, три... Хорошо, ах, хорошо-то!»

Возле стана засмеялись. Григорий оглянулся: Аксинья, наклоняясь, что-то говорила лежащей под арбой Дарье, та замахала руками, и снова обе засмеялись. Дуняшка сидела на вие⁶, тонюсеньким голоском пела.

«Дойду вон до этого кустика, косу отобью», – подумал Григорий и почувствовал, как коса прошла по чему-то вязкому. Нагнулся посмотреть: из-под ног с писком заковылял в траву маленький дикий утенок. Около ямки, где было гнездо, валялся другой, перерезанный косой надвое, остальные с чулюканьем рассыпались по траве. Григорий положил на ладонь перерезанного утенка. Изжелта-коричневый, на днях только вылупившийся из яйца, он еще таил в пушке живое тепло. На плоском раскрытом клювике розовенький пузырек кровицы, бисеринка глаза хитро прижмурена, мелкая дрожь горячих еще лапок.

Григорий с внезапным чувством острой жалости глядел на мертвый комочек, лежавший у него на ладони.

– Чего нашел, Гришунька?..

По скошенным рядам, подпрыгивая, бежала Дуняшка. На груди ее металась мелко заплетенные косички. Морщась, Григорий уронил утенка, злобно махнул косой.

Обедали на-скорях. Сало и казачья присяга – откидное кислое молоко, привезенное из дому в сумке, – весь обед.

– Домой ехать не из чего, – сказал за обедом Пантелей Прокофьевич. – Пушай быки пасутся в лесу, а завтра, покель подберет солнце росу, докосим.

После обеда бабы начали гресть. Скошенная трава вяла и сохла, излучая тягучий дурманящий аромат.

Смеркалось, когда бросили косить. Аксинья догребла оставшиеся ряды, пошла к стану варить кашу. Весь день она зло высмеивала Григория, глядела на него ненавидящими глазами, словно мстила за большую, незабываемую обиду. Григорий, хмурый и какой-то полинявший, угнал к Дону – поить – быков. Отец наблюдал за ним и за Аксиньей все время. Неприязненно поглядывая на Григория, сказал:

– Повечеряешь, а пося постереги быков. Гляди, в траву не пушай. Зипун мой возмешь.

Дарья уложила под арбой дитя и с Дуняшкой пошла в лес за хворостом.

Над займищем по черному недоступному небу шел ущербленный месяц. Над огнем метелицей порошили бабочки. Возле костра на раскинутом ряднище собрали вечерять. В полевом задымленном котле перекипала каша. Дарья подолом исподней юбки вытерла ложки, крикнула Григорию:

– Иди вечерять!

⁶ Виё – дышло в бычачей упряжке.

Григорий в накинутом на плечи зипуне вылез из темноты, подошел к огню.

– Ты чего это такой ненастный? – улыбнулась Дарья.

– К дождю, видно, поясницу ломит, – попробовал Григорий отшутиться.

– Он быков стеречь не хочет, ей-богу. – Дуняшка улыбнулась, подсаживаясь к брату, заговорила с ним, но разговор как-то не плелся.

Пантелей Прокофьевич истово хлебал кашу, хрустел на зубах недоваренным пшеном. Аксиныя ела, не поднимая глаз, на шутки Дарьи нехотя улыбалась. Испепеляя щеки, сжигал ее беспокойный румянец.

Григорий встал первый, ушел к быкам.

– Гляди, траву чужую быкам не потрави! – вслед ему крикнул отец и поперхнулся кашей, долго трескуче кашлял.

Дуняшка пыжила щеки, надуваясь смехом. Догорал огонь. Тлеющий хворост обволакивал сидевших медовым запахом прижженной листвы.

В полночь Григорий, крадучись, подошел к стану, стал шагах в десяти. Пантелей Прокофьевич сыпал на арбу переливчатый храп. Из-под пепла золотым павлиньим глазком высматривал не залитый с вечера огонь.

От арбы оторвалась серая укутанная фигура и зигзагами медленно двинулась к Григорию. Не доходя два-три шага, остановилась. Аксиныя. Она. Гулко и дробно сдвоило у Григория сердце; приседая, шагнул вперед, откинув полу зипуна, прижал к себе послушную, полыхающую жаром. У нее подгибались в коленях ноги, дрожала вся, сотрясаясь, вызванивая зубами. Рывком кинул ее Григорий на руки – так кидает волк к себе на хребтину зарезанную овцу, – путаясь в полах распахнутого зипуна, задыхаясь, пошел.

– Ой, Гри-и-иша... Гри-шень-ка!.. Отец...

– Молчи!..

Вырываясь, дыша в зипуне кислиной овечьей шерсти, давясь горечью раскаяния, Аксиныя почти крикнула низким стонущим голосом:

– Пусти, чего уж теперь... Сама пойду!..

Х

Не лазоревым алым цветом⁷, а собачьей бесилой, дурнопьяном придорожным цветет поздняя бабья любовь.

С лугового покоса переродилась Аксиныя. Будто кто отметину сделал на ее лице, тавро выжег. Бабы при встрече с ней ехидно ощерялись, качали головами вслед, девки завидовали, а она гордо и высоко несла свою счастливую, но срамную голову.

Скоро про Гришкину связь узнали все. Сначала говорили об этом шепотом, – верили и не верили, – но после того как хуторской пастух Кузька Курносый на заре увидел их возле ветряка, лежавших под неярким светом закатного месяца в невысоком жите, мутной прибойной волной покатила молва.

Дошло и до ушей Пантелея Прокофьевича. Как-то в воскресенье пошел он к Мохову в лавку. Народу – не дотолпишься. Вошел – будто раздались, заулыбались. Протиснулся к прилавку, где отпускали мануфактуру. Товар ему взялся отпускать сам хозяин, Сергей Платонович.

– Что-то тебя давненько не видать, Прокофьич?

– Делишки всё. Неуправка в хозяйстве.

– Что так? Сыны вон какие, а неуправка.

⁷ Лазоревым цветком называют на Дону степной тюльпан.

– Что ж сыны-то: Петра в лагерь проводил, двое с Гришкой и ворочаем.

Сергей Платонович надвое развалил крутую гнедоватую бородку, многозначительно скосил глаза на толпившихся казаков.

– Да, голубчик, ты что же это примолчался-то?

– А что?

– Как что? Сына задумал женить, а сам ни гугу.

– Какого сына?

– Григорий у тебя ведь неженатый.

– Покедова ишо не собирался женить.

– А я слышал, будто в снохи берешь... Степана Астахова Аксинью.

– Я? От живого мужа... Да ты что ж, Платоныч, навроде смеешься? А?

– Какой смех! Слышал от людей.

Пантелей Прокофьевич разгладил на прилавке развернутую штуку материи и, круто повернувшись, захромал к выходу. Он направился прямо домой. Шел, по-бычьи угнув голову, сжимая связку жилистых пальцев в кулак; заметней припадал на хромую ногу. Минув астаховский двор, глянул через плетень: Аксинья, нарядная, помолодевшая, покачиваясь в бедрах, шла в курень с порожним ведром.

– Эй, погоди-ка!..

Пантелей Прокофьевич чертом попер в калитку. Аксинья стала, поджидая его. Вошли в курень. Чисто выметенный земляной пол присыпан красноватым песком, в переднем углу на лавке вынутые из печи пироги. Из горницы пахнет слежалой одеждой и почему-то – анисовыми яблоками.

Под ноги Пантелею Прокофьевичу подошел было поластиться рябой большеголовый кот. Сгорбил спину и дружески толкнулся о сапог. Пантелей Прокофьевич шваркнул его об лавку и, глядя Аксинье в брови, крикнул:

– Ты что ж это?.. А? Не остыл мужьин след, а ты уже хвост набок! Гришке я кровь спущу за это самое, а Степану твоему пропишу!.. Пушай знает!.. Ишь ты, курва, мало тебя били... Чтoб с нонешнего дня и ноги твоей на моем базу не ступало. Шашлы заводить с парнем, а Степан придет да мне же...

Аксинья, сузив глаза, слушала. И вдруг бесстыдно мотнула подолом, обдала Пантелея Прокофьевича запахом бабьих юбок и грудью пошла на него, кривляясь и скаля зубы.

– Ты что мне, свекор? А? Свекор?.. Ты что меня учишь! Иди свою толстозадую учи! На своем базу распоряжайся!.. Я тебя, дьявола хромого, культяпого, в упор не вижу!.. Иди отсель, не спужаешь!

– Погоди, дура!

– Нечего годить, тебе не родить!.. Ступай, откель пришел! А Гришку твоего, захочу – с костями съем и ответа держать не буду!.. Вот на! Выкуси! Ну, люб мне Гришка. Ну? Вдаришь, что ль?.. Мужу пропишешь?.. Пиши хучь наказному атаману, а Гришка мой! Мой! Мой! Вла-даю им и буду владать!..

Аксинья напирала на оробевшего Пантелея Прокофьевича грудью (билась она под узкой кофточкой, как стрепет в силке), жгла его полымем черных глаз, сыпала слова – одно другого страшней и бесстыжей. Пантелей Прокофьевич, подрагивая бровями, отступал к выходу, нащупал поставленный в углу костыль и, махая рукой, задом отворил дверь. Аксинья вытесняла его из сенцев, задыхаясь, выкрикивала, бесновалась:

– За всю жизнь за горькую отлюблю!.. А там хучь убейте! Мой Гришка! Мой!

Пантелей Прокофьевич, что-то булькая себе в бороду, закилял к дому.

Гришку он нашел в горнице. Не говоря ни слова, достал его костылем вдоль спины. Григорий, изогнувшись, повис на отцовской руке.

– За что, батя?

– За дело, су-у-у-кин сын!..

– За что?

– Не пакости соседу! Не страми отца! Не таскайся, кобелина! – хрипел Пантелей Прокофьевич, тягая по горнице Григория, сился вырвать костыль.

– Дратся не дам! – глухо сапнул Григорий и, стиснув челюсти, рванул костыль. На колено его и – хряп!..

Пантелей Прокофьевич – сына по шее тугим кулаком.

– На сходе заporю!.. Ах ты чертово семя, прокляя-я-а-а-тый сын! – Он сучил ногами, намереваясь еще раз ударить. – На Марфушке-дурочке женю!.. Я те выхолощу!.. Ишь ты!..

На шум прибежала мать.

– Прокофьич, Прокофьич!.. Охолонь трошки!.. Погоди!..

Но старик разошелся не на шутку: поднес раз жене, опрокинул столик со швейной машиной и, навоевавшись, вылетел на баз. Не успел Григорий скинуть рубаху с разорванным в драке рукавом, как дверь крепко хлястнула и на пороге вновь тучей буревой укрепился Пантелей Прокофьевич.

– Женить сукиного сына!.. – Он по-лошадиному стукнул ногой, уперся взглядом в мускулистую спину Григория. – Женю!.. Завтра же поеду сватать! Дожил, что сыном в глаза смеются!

– Дай рубаху-то надеть, посла женишь.

– Женю!.. На дурочке женю!.. – Хлопнул дверью, по крыльцу протарахтели шаги и стихли.

XI

За хутором Сетраковым в степи рядами вытянулись повозки с брезентовыми будками. Невидимо быстро вырос городок, белокрыший и аккуратный, с прямыми улочками и небольшой площадкой в центре, по которой похаживал часовой.

Лагерь зажили обычной для мая месяца, ежегодно однообразной жизнью. По утрам команда казаков, караулившая на попасе лошадей, пригоняла их к лагерям. Начинались чистка, седловка, переключка, построения. Зычно покрикивал заведующий лагерями штаб-офицер, шумоватый войсковой старшина Попов, горланили, муштруя молодых казаков, обучавшие их урядники. За бугром сходились в атаках, хитро окружали и обходили «противника». Стреляли по мишени из дробовиц. Казаки помоложе охотно состязались в рубке, постарше – отвиливали от занятий.

Люди хрипли от жары и водки, а над длинными шеренгами крытых повозок тек пахучий волнующий ветер, издалека свистели суслики, степь тянула подальше от жилья и дыма выбеленных куреней.

За неделю до выхода из лагерей к Андрею Томилину, родному брату батарейца Ивана, приехала жена. Привезла домашних сдобных бурсаков, всякого угощенья и ворох хуторских новостей.

На другой день спозаранку уехала. Повезла от казаков домашним и близким поклоны, наказы. Лишь Степан Астахов ничего не пересылал с ней. Накануне заболел он, лечился водкой и не видел не только жены Томилиной, но и всего белого света. На ученье не поехал; по его просьбе фельдшер кинул ему кровь, поставил на грудь дюжину пиявок. Степан в одной исподней рубахе сидел у колеса своей брички, – фуражка с белым чехлом мазалась, вытирая колесную мазь, – оттопырив губу, смотрел, как пиявки, всосавшись в выпуклые полушария его груди, набухали черной кровью.

Возле стоял полковой фельдшер, курил, процеживая сквозь редкие зубы табачный дым.

– Легчает?

– От грудей тянет. Сердцу, кубыть, просторней...

– Пиявки – первое средство!

К ним подошел Томилин. Мигнул.

– Степан, словцо бы сказать хотел.

– Говори.

– Поди на-час⁸.

Степан, кряхтя, поднялся, отошел с Томилиным.

– Ну, выкладывай.

– Баба моя приезжала... Ноне уехала.

– А...

– Про твою женёнку по хутору толкуют...

– Что?

– Гутарют недобро.

– Ну?

– С Гришкой Мелеховым спуталась... В открытую.

Степан, бледнея, рвал с груди пиявок, давил их ногою. Последнюю раздавил, застегнул воротник рубахи и, словно испугавшись чего-то, снова расстегнул... Белые губы не находили покоя: подрагивая, расплзались в нелепую улыбку, ежились, собираясь в синеватый комок... Томилину казалось, что Степан жуёт что-то твердое, неподатливое на зубы. Постепенно к лицу вернулась краска, прихваченные изнутри зубами, окаменели в неподвижности губы. Степан снял фуражку, рукавом размазал по белому чехлу пятно колесной мази, сказал звонко:

– Спасибо за вести.

– Хотел предупредить... Ты извиняй... Так, мол, и так дома...

Томилин сожалеюще хлопнул себя по штанине и ушел к нерасседланному коню. Лагерь в гуле голосов. Приехали с рубки казаки. Степан с минуту стоял, разглядывая сосредоточенно и строго черное пятно на фуражке. На сапог ему карабкалась полураздавленная, издыхающая пиявка.

XII

Оставалось полторы недели до прихода казаков из лагерей.

Аксинья неистовствовала в поздней горькой своей любви. Несмотря на угрозы отца, Григорий, таясь, уходил к ней с ночи и возвращался с зарей.

За две недели вымотался он, как лошадь, сделавшая непосильный пробег.

От бессонных ночей коричневая кожа скуластого его лица отливала синевою, из ввалившихся глазниц устало глядели черные, сухие глаза.

Аксинья ходила, не кутая лица платком, траурно чернели глубокие ямы под глазами; припухшие, слегка вывернутые, жадные губы ее беспокойно и вызывающе смеялись.

Так необычайна и явна была сумасшедшая их связь, так исступленно горели они одним бесстыдным полымем, людей не совестясь и не таясь, худея и чернея в лицах на глазах у соседей, что теперь на них при встречах почему-то стыдились люди смотреть.

Товарищи Григория, раньше трунившие над ним по поводу связи с Аксиньей, теперь молчали, сойдясь, и чувствовали себя в обществе Григория неловко, связанно. Бабы, в душе завидуя, судили Аксинью, злорадствовали в ожидании прихода Степана, изнывали, снедаемые любопытством. На развязке плелись их предположения.

Если б Григорий ходил к жалмерке Аксинье, делая вид, что скрывается от людей, если б жалмерка Аксинья жила с Григорием, блюдя это в относительной тайне, и в то же время не чуралась бы других, то в этом не было бы ничего необычного, хлещущего по глазам. Хутор

⁸ На-час – на минутку.

поговорил бы и перестал. Но они жили, почти не таясь, вязало их что-то большое, не похожее на короткую связь, и поэтому в хуторе решили, что это преступно, безнравственно, и хутор прижух в поганеньком выжиданьице: придет Степан – узелок развяжет.

В горнице над кроватью протянута веревочка. На веревочку нанизаны белые и черные порошники, без ниток, катушки. Висят для красоты. На них ночлежничают мухи, от них же к потолку – пряжа паутины. Григорий лежит на голой прохладной Аксиныной руке и смотрит в потолок на цепку катушек. Аксинья другой рукой – огрубелыми от работы пальцами – перебирает на запрокинутой голове Григория жесткие, как конский волос, завитки. Аксиныны пальцы пахнут парным коровьим молоком; когда поворачивает Григорий голову, носом втыкаясь Аксинье в подмышку, – хмелем невыбродившим бьет в ноздри острый сладковатый бабий пот.

В горнице, кроме деревянной крашеной кровати с точеными шишками по углам, стоит возле дверей окованный уемистый сундук с Аксиныным приданым и нарядами. Под передним углом – стол, клеенка с генералом Скобелевым, скачущим на склоненные перед ним махровитые знамена; два стула, вверху – образа в бумажных ярко-убогих ореолах. Сбоку, на стене – засиженные мухами фотографии. Группа казаков – чубатые головы, выпяченные груди с часовыми цепками, оголенные клинки палашей: Степан с товарищами еще с действительной службы. На вешалке висит неприбранный Степанов мундир. Месяц глазастеет в оконную прорезь, недоверчиво щупает две белые урядницкие лычки на погоне мундира.

Аксинья со вздохом целует Григория повыше переносицы, на развилке бровей.

– Гриша, колосочек мой...

– Чего тебе?

– Осталось девять дён...

– Ишо не скоро.

– Что я, Гриша, буду делать?

– Я почем знаю.

Аксинья удерживает вздох и снова гладит и разбирает спутанный Гришкин чуб.

– Убьет меня Степан... – не то спрашивает, не то утвердительно говорит она.

Григорий молчит. Ему хочется спать. Он с трудом раздирает липнувшие веки, прямо над ним – мерцающая синевою чернь Аксиныных глаз.

– Придет муж – небось, бросишь меня? Побоишься?

– Мне что его бояться, ты – жена, ты и боись.

– Зараз, с тобой, я не боюсь, а посередь дня раздумаюсь – и оторопь возьмет...

Григорий зевает, перекачивая голову, говорит:

– Степан придет – это не штука. Батя вон меня женить собирается.

Григорий улыбается, хочет еще что-то сказать, но чувствует: рука Аксины под его головой как-то вдруг дряблo мякнет, вдавливаясь в подушку и, дрогнув, через секунду снова твердеет, принимает первоначальное положение.

– Кого усватали? – приглушенно спрашивает Аксинья.

– Только собирается ехать. Мать гутарила, кубыть, к Коршуновым, за ихнюю Наталью.

– Наталья... Наталья – девка красивая... Дюже красивая. Что ж, женись. Надысь видала ее в церкви... Нарядная была...

Аксинья говорит быстро, но слова расползаются, не доходят до слуха неживые и бесцветные слова.

– Мне ее красоту за голенищу не класть. Я бы на тебе женился.

Аксинья резко выдергивает из-под головы Григория руку, сухими глазами смотрит в окно. По двору – желтая ночная стынь. От сарая – тяжелая тень. Свиристят кузнечики. У Дона гудят водяные быки, угрюмые басовитые звуки ползут через одинарное оконце в горницу.

– Гриша!

– Надумала что?

Аксинья хватает неподатливые, черствые на ласку Гришкины руки, жмет их к груди, к холодным, помертвевшим щекам, кричит стонущим голосом:

– На что ты, проклятый, привязался ко мне? Что я буду делать!.. Гри-и-ишка!.. Душу ты мою вынаешь!.. Сгубилась я... Придет Степан – какой ответ держать стану?.. Кто за меня вступится?..

Григорий молчит. Аксинья скорбно глядит на его красивый хрящеватый нос, на покрытые тенью глаза, на немые губы... И вдруг рвет плотину сдержанности поток чувства: Аксинья бешено целует лицо его, шею, руки, жесткую курчавую черную поросль на груди. В промежутки, задыхаясь, шепчет, и дрожь ее ощущает Григорий.

– Гриша, дружечка моя... родимый... давай уйдем. Милый мой! Кинем все, уйдем. И мужа и все кину, лишь бы ты был... На шахты уйдем, далеко. Кохать тебя буду, жалеть... На Парамоновских рудниках у меня дядя родной в стражниках служит, он нам пособит... Гриша! Хучь словцо урони.

Григорий углом переламывает левую бровь, думает и неожиданно открывает горячие свои, нерусские глаза. Они смеются. Слепят насмешкой.

– Дура ты, Аксинья, дура! Гутаришь, а послухать нечего. Ну, куда я пойду от хозяйства? Опять же на службу мне на этот год. Не годится дело... От земли я никуда не тронусь. Тут степь, дыхнуть есть чем, а там? Прошлую зиму ездил я с батей на станцию, так было-к пропал. Паровозы ревут, дух там чижелый от горелого угля. Как народ живет – не знаю, может, они привыкли к этому самому угару... – Григорий сплевывает и еще раз говорит: – Никуда я с хутора не пойду.

За окном темнеет, на месяц наплыло облачко. Меркнет желтая, разлитая по двору стынь, стираются вытуженные тени, и уже не разобрать, что темнеет за плетнем: прошлогодний порубленный хворост ли или прислонившийся к плетню старюка-бурьян.

В горнице тоже густеет темень, блекнут Степановы урядничьи лычки на висящем у окна казачьем мундире, и в серой застойной непрогляди Григорий не видит, как у Аксиньи мелкой дрожью трясутся плечи и на подушке молча подпрыгивает стиснутая ладонями голова.

XIII

С того дня, как приезжала баба Томилина, подурнел Степан с лица. Висли на глаза брови, ложбинка глубокая и черствая косо прорезала лоб. Он мало говорил с товарищами, из-за пустяков вспыхивал и начинал ссору, ни с того ни с сего поругался с вахмистром Плешаковым, на Петра Мелехова почти не глядел. Лопнула вожжина дружбы, раньше соединявшая их. В тяжелой накипевшей злобе своей шел Степан под гору, как лошадь, понесшая седока. Домой возвращались они врагами.

Надо же было приключиться такому случаю, ускорившему развязку неопределенных и враждебных отношений, установившихся между ними за последнее время. Из лагерей поехали по-прежнему впрягом. В бричку запрягли Петрова коня и Степанова. Христоня на своем ехал верхом. Андрея Томилина трясла лихорадка, лежал он в будке под шинелью. Федот Бодовсков ленился править, поэтому кучеровал Петро. Степан шел возле брички, плетью сбивая пунцовые головки придорожного татарника. Падал дождь. Густой чернозем смолою крутился на колесах. Небо по-осеннему сизело, запеленатое в тучи. Спустилась ночь. Огней хутора, сколько ни приглядывались, не было видно. Петро щедро сыпал лошадям кнута. И вот тут-то в темноте крикнул Степан:

– Ты что же... Своего коня прижеливаешь, а с моего кнут не сходит?

– Гляди дюжей. Чей не тянет, того и погоняю.

– Как бы я тебя не подпрег. Турки – они тягуши...

Петро бросил вожжи.

– Тебе что надо?

– Сиди уж, не вставай.

– То-то, помолчал бы.

– Ты чего к нему прискипался? – загудел Христоня, подъезжая к Степану.

Тот промолчал. В темноте не видно было его лица. С полчаса ехали молча. Шелестела под колесами грязь. Дремотно вызванивал по брезентовой крыше будки сеянный на сито дождь. Петро, бросив вожжи, курил. Перебирал в уме все те обидные слова, которые он при новой стычке скажет Степану. Его подмывала злоба. Хотелось хлестко выругать этого подлеца Степана, осмеять.

– Посторонись. Дай в будку пролезть. – Степан легонько толкнул Петра, вскочил на подножку.

Тут-то неожиданно дернулась бричка и стала. Оскользаясь по грязи, затопотали лошади, из-под подков брызнули искры. Громыхнул натянутый барок.

– Трррр!.. – крикнул Петро, прыгая с брички.

– Что там такое? – всполошился Степан.

Подскакал Христоня.

– Обломались, черти?

– Засвети огонь.

– Серники у кого?

– Степан, кинь серники!

Впереди, всхрапывая, билась лошадь. Кто-то чиркнул спичкой. Оранжевое колечко света – и опять темь. Дрожащими руками Петро щупал спину упавшей лошади. Дернул под уздцы.

– Но!..

Лошадь, вздохнув, повалилась на бок, хряпнуло дышло. Подбежавший Степан зажег щепоть спичек. Конь его лежал, вскидывая голову. Передняя нога по колено торчала в заваленной сурчине.

Христоня, суетясь, отцепил постромки.

– Ногу ему выручай!

– Отпрягай Петрова коня, ну, живо!

– Стой, про-кля-тый! Трррр!..

– Он брыкается, дьявол. Сторонись!

С трудом подняли Степанова коня на ноги. Измазанный Петро держал его под уздцы, Христоня ползал в грязи на коленях, ощупывая безжизненную поднятую ногу.

– Должно, переломил... – пробасил он.

Федот Бодовсков шлепнул по дрожащей лошадиной спине ладонью.

– А ну, проведи. Может, пойдет?

Петро потянул на себя поводья. Конь прыгнул, не наступая на левую переднюю, и заржал. Томилин, надевая шинель в рукава, горестно топтался около.

– Врjúхались!.. Сгубили коня, эх!..

Молчавший все время Степан словно этого и ждал: отпихнув Христонию, кинулся на Петра. Целил в голову, но промахнулся – в плечо попал. Сцепились. Упали в грязь. Треснула на ком-то рубаха. Степан подмял Петра и, придавив коленом голову, гвоздил кулачьями. Христоня растянул их, матерясь.

– За что?.. – выхаркивая кровь, кричал Петро.

– Правь, гадюка! Бездорожно не ездí!..

Петро рванулся из Христониных рук.

– Но-но-но! Балуй у меня! – гудел тот, одной рукой прижимая его к бричке.

В пару к Петрову коню припрягли низкорослого, но тягущего конишку Федота Бодовс-кова.

– Садись на моего! – приказал Степану Христоня.

Сам полез в будку к Петру.

Уже в полночь приехали на хутор Гниловской. Стали у крайнего куренька. Христоня пошел проситься на ночевку. Не обращая внимания на кобеля, хватавшего его за полы шинели, он проплюхал к окну, открыл ставень, поскреб ногтем о стекло.

– Хозяин!

Шорох дождя и залиvistый собачий брех.

– Хозяин! Эй, добрые люди! Пустите, ради Христа, заночевать. А? Служивые, из лагерей. Сколько? Пятеро нас. Ага, ну, спаси Христос. Заезжай! – крикнул он, поворачиваясь к воротам.

Федот ввел во двор лошадей. Споткнулся о свиное корыто, брошенное посреди двора, выругался. Лошадей поставили под навес сарая. Томилин, вызванивая зубами, пошел в хату. В будке остались Петро и Христоня.

На заре собрались ехать. Вышел из хаты Степан, за ним семенила древняя горбатая старушонка. Христоня, запрягавший коней, пожалел ее:

– Эх, бабуня, как тебя согнуло-то! Небось, в церкви поклоны класть способно, чудок нагнулась – и вот он, пол.

– Соколик мой, атаманец, мне – поклоны класть, на тебе – собак вешать способно... Всякому свое. – Старуха сурово улыбнулась, удивив Христоню густым рядом несъеденных мелких зубов.

– Ишь ты, какая зубастая, чисто шука. Хучь бы мне на бедность подарила с десяток. Молодой вот, а жевать нечем.

– А я с чем остануся, хороший мой?

– Тебе, бабка, лошадиные вставим. Все одно помирать, а на том свете на зубы не глядят: угодники – они ить не из цыганев.

– Мели, Емеля, – улыбнулся, влезая на бричку, Томилин. Старуха прошла со Степаном под сарай.

– Какой из них?

– Вороной, – вздохнул Степан.

Старуха положила на землю свой костыль и мужским, уверенно-сильным движением подняла коню испорченную ногу. Скрюченными тонкими пальцами долго шупала коленную чашечку. Конь прижимал уши, ощеряя коричневый навес зубов, приседал от боли на задние ноги.

– Нет полому, казачок, нету. Оставь, полечу.

– Толк-то будет, бабуня?

– Толк? А кто ж его знает, славный мой... Должно, будет толк. Степан махнул рукой и пошел к бричке.

– Оставишь ай нет? – шурилась вслед старуха.

– Пущай остается.

– Она его вылечит: оставил об трех ногах – возьмешь кругом без ног. Ветинара с горбом нашел, – хохотал Христоня.

XIV

– ...Тоскую по нем, родная бабунюшка. На своих глазыньках сохну. Не успеваю юбку ушивать – что ни день, то шире становится... Пройдет мимо база, а у меня сердце закипает... упала б наземь, следы б его целовала... Может, присушил чем?.. Пособи, бабунюшка! Женить

его собираются... Пособи, родная! Что стоит – отдам. Хучь последнюю рубаху сыму, только пособи!

Светлыми, в кружеве морщин, глазами глядит бабка Дроздиха на Аксиныю, качает головой под горькие слова рассказа.

– Чей же паренек-то?

– Пантелея Мелехова.

– Турка, что ли?

– Его.

Бабка жует ввалившимся ртом, медлит с ответом.

– Придешь, бабонька, пораньше завтра. Чуть займется зорька, придешь. К Дону пойдем, к воде. Тоску отольем. Сольцы прихвати щепоть из дому... Так-то.

Аксиныя кутает желтым полushалком лицо и, сгорбившись, выходит за ворота.

Темная фигура ее рассасывается в ночи. Сухо черкают подошвы чириков. Смолкают и шаги. Где-то на краю хутора дерутся и режут песни.

С рассветом Аксиныя, не спавшая всю ночь, – у Дроздихино окна.

– Бабушка!

– Кто там?

– Я, бабушка. Вставай.

– Зараз оденусь.

По проулку спускаются к Дону. У пристани, возле мостков, мокнет в воде брошенный передок арбы. Песок у воды леденисто колок. От Дона течет сырая, студеная мгла.

Дроздиха берет костистой рукой Аксиныну руку, тянет ее к воде.

– Соль взяла? Дай сюды. Кстись на восход.

Аксиныя крестится. Злобно глядит на счастливую розовость востока.

– Зачерпни воды в пригоршню. Испей, – командует Дроздиха.

Аксиныя, измочив рукава кофты, напилась. Бабка черным пауком раскорячилась над ленивой волной, присела на корточки, зашептала:

– Студены ключи, со дна текущие... Плоть горячая... Зверем в сердце... Тоска-лихома-ница... И крестом святым... пречистая, пресвятая... Раба божия Григория... – доносилось до слуха Аксины.

Дроздиха посыпала солью влажную песчаную россыпь под ногами, сыпанула в воду, остатки – Аксины за пазуху.

– Плесни через плечо водицей. Скорей!

Аксиныя проделала. С тоской и злобой оглядела коричневые щеки Дроздихи.

– Все, что ли?

– Поди, милая, позоруй. Все.

Запыхавшись, прибежала Аксиныя домой. На базу мычали коровы. Мелехова Дарья, заспанная и румяная, поводя красивыми дугами бровей, гнала в табун своих коров. Она, улыбаясь, оглядела бежавшую мимо Аксиныю.

– Здорово ночевала, соседка!

– Слава богу.

– Гдей-то спозаранку моталась?

– Тут в одно место, по делу.

Зазвонили к утрени. Рассыпчато и ломко падали медноголосые всплески. На проулке шелкал арапником подпасок.

Аксиныя, спеша, выгнала коров, понесла в сенцы цедить молоко. Вытерла о завеску руки с засученными по локоть рукавами; думая о чем-то своем, плескала в запенившуюся цедилку молоко.

По улице резко зацокали колеса. Заржали кони. Акси́нья поставила цебарку, пошла глянуть в окно.

К калитке, придерживая шашку, шел Степан. Обгоняя друг друга, скакали к площади казаки. Акси́нья скомкала в пальцах завеску и села на лавку. По крыльцу шаги... Шаги в сенцах... Шаги у самой двери...

Степан стал на пороге, исхудавший и чужой.

– Ну...

Акси́нья, вихляясь всем своим крупным, полным телом, пошла навстречу.

– Бей! – протяжно сказала она и стала боком.

– Ну, Акси́нья...

– Не таюсь – грех на мне. Бей, Степан!

Она, вобрав голову в плечи, сжавшись в комок, защищая руками только живот, стояла к нему лицом. С обезображенного страхом лица глядели глаза в черных кругах, не мигая. Степан качнулся и прошел мимо. Пахнуло запахом мужского пота и полынной дорожной горечью от нестираной рубахи. Он, не скинув фуражки, лег на кровать. Полежал, повел плечом, сбрасывая португеею. Всегда лихо закрученные русые усы его квели свисали вниз. Акси́нья, не поворачивая головы, сбоку глядела на него. Редко вздрагивала. Степан положил ноги на спинку кровати. С сапог вязко тянулась закрутевшая грязь. Он смотрел в потолок, перебирал пальцами ременный темляк шашки.

– Ишо не стряпалась?

– Нет...

– Собери-ка что-нибудь пожрать.

Хлебал из чашки молоко, обсасывая усы. Хлеб жевал подолгу, на щеках катались обтянутые розовой кожей желваки. Акси́нья стояла у печки. С жарким ужасом глядела на маленькие хрящеватые уши мужа, ползавшие при еде вверх и вниз.

Степан вылез из-за стола, перекрестился.

– Расскажи, милаха, – коротко попросил он.

Нагнув голову, Акси́нья собирала со стола. Молчала.

– Расскажи, как мужа ждала, мужнину честь берегла? Ну?

Страшный удар в голову вырвал из-под ног землю, кинул Акси́нью к порогу. Она стукнулась о дверную притолоку спиной, глухо ахнула.

Не только бабу квелую и пустомясую, а и ядреных каршеватых атаманцев умел Степан валить с ног ловким ударом в голову. Страх ли поднял Акси́нью, или снесла бабья живучая натура, но она отлежалась, отдышалась, встала на четвереньки.

Закуривал Степан посреди хаты и прозевал, как поднялась Акси́нья в дыбки. Кинул на стол кисет, а она уж дверью хлопнула. Погнался.

Акси́нья, залитая кровью, ветром неслась к плетню, отделявшему их двор от мелеховского. У плетня Степан настиг ее. Черная рука его ястребом упала ей на голову. Промеж сжатых пальцев набились волосы. Рванул и повалил на землю, в золу – в ту золу, которую Акси́нья, истопив печь, изо дня в день сыпала у плетня.

Что из того, что муж, заложив руки за спину, охаживает собственную жену сапогами?.. Шел мимо безрукий Алешка Шамиль, поглядел, поморгал и раздвинул кустастую бороденку улыбкой: очень даже понятно, за что жалует Степан свою законную.

Остановился бы Шамиль поглядеть (на кого ни доведись, все ж таки любопытно ведь) – до смерти убьет или нет, – но совесть не позволяет. Не баба, как-никак.

Издали на Степана глядеть – казачка человек вытанцовывает. Так и подумал Гришка, увидев из окна горницы, как подпрыгивает Степан. А доглядел – и выскочил из куреня. К плетню бежал на цыпочках, плотно прижав к груди занемевшие кулаки; за ним следом тяжело тупал сапогами Петро.

Через высокий плетень Григорий махнул птицей. С разбегу сзади хлопистнул занятого Степана. Тот качнулся и, обернувшись, пошел на Гришку медведем.

Братья Мелеховы дрались отчаянно. Клевали Степана, как стервятники падаль. Несколько раз Гришка катился наземь, сбитый Степановой кулачной свинчаткой. Жидковат был против заматеревшего Степана. Но низенький выюн Петро гнулся под ударами, как камыш под ветром, а на ногах стоял твердо.

Степан, сверкая одним глазом (другой затек опухолью цвета недоспелой сливы), отступал к крыльцу.

Разнял их Христоня, пришедший к Петру за уздечкой.

– Разойдись! – Он махнул клешнятыми руками. – Разойдись, а то к атаману!

Петро бережно выплюнул на ладонь кровь и половину зуба, сказал хрипло:

– Пойдем, Гришка. Мы его в однорядь подсадим...

– Нешто не попадешься ты мне! – грозил с крыльца подсиненный во многих местах Степан.

– Ладно, ладно!

– И без ладного душу с потрохами выну!

– Ты всурьез или шутейно?

Степан быстро сошел с крыльца. Гришка рванулся к нему навстречу, но Христоня, толкая его в калитку, пообещал:

– Только свяжись – измотаю, как цуцика!

С этого дня в калмыцкий узелок завязалась между Мелеховыми и Степаном Астаховым злоба.

Суждено было Григорию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под городом Столыпином.

XV

– Петру скажи, чтоб запрягал кобылу и своего коня.

Григорий вышел на баз. Петро выкатывал из-под навеса сарая бричку.

– Батя велит запрягать кобылу и твоего.

– Без него знаем. Пуцай заткнется! – направляя дышло, отозвался Петро.

Пантелей Прокофьевич, торжественный, как ктитор у обедни, дохлебывал щи, омывался горячим потом.

Дуняшка шустро оглядела Григория, где-то в тенистом холодке выгнутых ресниц припрятала девичий свой смешок-улыбку. Ильинична, кургузая и важная, в палевой праздничной шали, тая в углах губ материнскую тревогу, взглянула на Григория и – к старику:

– Будя тебе, Прокофьич, напихиваться. Чисто оголодал ты!

– Поисть не даст. То-то латоха!

В дверь просунул длинные пшенично-желтые усы Петро.

– Пжалте, фаитон подан.

Дуняшка прыснула смехом и закрылась рукавом.

Прошла через кухню Дарья, поиграла тонкими ободьями бровей, оглядывая жениха.

Свахой ехала двоюродная сестра Ильиничны, жох-баба, вдовая тетка Василиса. Она первая угнездилась в бричке, вертя круглой, как речной голыш, головой, посмеиваясь, из-под оборки губ показывая кривые черные зубы.

– Ты, Васенка, там-то не скалься, – предупредил ее Пантелей Прокофьевич, – можешь все дело испакостить через свою пасть... Зубы-то у тебя пьяные посажены в рот: один туда кривится, другой совсем наоборот даже...

– Эх, куманек, не за меня сватают-то. Не я женихом.

– Так-то так, а все ж таки не смеись. Дюже уж зубы-то не того... Чернота одна, погано глядеть даже.

Василиса обижалась, а тем часом Петро расхлебенил ворота. Григорий разобрал пахучие ременные вожжи, вскочил на козлы. Пантелей Прокофьевич с Ильиничной – в задую брички рядком, ни дать ни взять – молодые.

– Кнута им ввали! – крикнул Петро, выпуская из рук поводья.

– Играй, черт! – Гришка куснул губу и – кнутом коня, перебиравшего ушами.

Лошади натянули постромки, резво взяли с места.

– Гляди! Зацепишься!.. – взвизгнула Дарья, но бричка круто вильнула и, подпрыгивая на придорожных кочках, затараторила вдоль по улице.

Сवेशиваясь набок, Григорий горячил кнутом игравшего в упряжке Петрова строевика. Пантелей Прокофьевич ладонью держал бороду, словно опасаясь, что подхватит и унесет ее ветер.

– Кобылу рубани! – ворочая по сторонам глазами, сипел он, наклоняясь к Григорьевой спине.

Ильинична кружевным рукавом кофты вытирала выжатую ветром слезинку, мигая, глядела, как на спине Григория трепещет, надуваясь от ветра горбом, сатиновая синяя рубаша. Встречные казаки сторонились, подолгу глядели вслед. Собаки, выскакивая из дворов, катились под ноги лошадям. Лая не было слышно за гулом заново ошиненных колес.

Григорий не жалел ни кнута, ни лошадей, и через десять минут хутор лег позади, у дороги зелено закружились сады последних дворов. Коршуновский просторный курень. Дощатый забор. Григорий дернул вожжи, и бричка, оборвав железный рассказ на полуслове, стала у крашенных, в мелкой резьбе, ворот.

Григорий остался у лошадей, а Пантелей Прокофьевич захромал к крыльцу. За ним в шелесте юбок поплыли красномаковая Ильинична и Василиса, неумолимо твердо спаявшая губы. Старик спешил, боясь утратить припасенную дорогой смелость. Он споткнулся о высокий порожек, зашиб хромую ногу и, морщась от боли, буйно затоптал по вымытым сходцам.

Вошел он в курень почти вместе с Ильиничной. Ему невыгодно было стоять рядом с женой, была она выше его на добрую четверть, поэтому он ступил от порога шаг вперед, поджав по-кочетиному ногу, и, скинув фуражку, перекрестился на черную, мутного письма икону:

– Здорово живете!

– Слава богу, – ответил, привстав с лавки, хозяин – невысокий конопатый престарелый казак.

– Принимай гостей, Мирон Григорьевич!

– Гостям завсегда рады. Марья, дай людям на что присесть.

Пожилая плоскогрудая хозяйка для виду обмахнула табуреты, подвинула их гостям. Пантелей Прокофьевич сел на краешек, вытирая утиркой взмокший смуглый лоб.

– А мы это к вам по делу, – начал он без обиняков.

В этом месте речи Ильинична и Василиса, подвернув юбки, тоже присели.

– Жалься: по какому такому делу? – улыбнулся хозяин.

Вошел Григорий. Зыркнул по сторонам.

– Здорово ночевали.

– Слава богу, – протяжно ответила хозяйка.

– Слава богу, – подтвердил и хозяин. Сквозь веснушки, устрекавшие его лицо, проступила коричневая краска: тут только догадался он, зачем приехали гости. – Скажи, чтоб коней ихних ввели на баз. Нехай им сена кинут, – обратился он к жене.

Та вышла.

– Дельце к вам по малости имеем... – продолжал Пантелей Прокофьевич. Он ворошил кудрявую смолу бороды, подергивал в волнении серьгу. – У вас – девка невеста, у нас – жених...

Не снюхаемся ли, каким случаем? Узнать бы хотелось – будете ли вы ее выдавать зараз, нет ли? А то, может, и породнились бы?

– Кто же ее знает... – Хозяин почесал лысеющую голову. – Не думали, признаться, в нынешний мясоед выдавать. Тут делов пропастишша, а тут-таки и годков ей не дже чтоб много. Осьмнадцатая весна только перешла. Так ить, Марья?

– Так будет.

– Теперича самое светок лазоревый, что ж держать, – аль мало перестарков в девках кулюкают? – выступила Василиса, ерзая по табурету (ее колол украденный в сенцах и сунутый под кофту веник: по приметам, сваты, укравшие у невесты веник, не получают отказа).

– За нашу наезжали сваты ишо на провесне. Наша не засидится. Девка – нечего бога-милостивца гневовать – всем взяла: что на полях, что дома...

– Попадется добрый человек, и выдать можно, – протиснулся Пантелей Прокофьевич в бабий трескучий разговор.

– Выдать не вопрос, – чесался хозяин, – выдать в любое время можно.

Пантелей Прокофьевич подумал, что им отказывают, – загорячился:

– Оно само собой – дело хозяйское... Жених, он навроде старца, где хошь просит. А уж раз вы, к примеру, ищите, может, купецкого звания жениха аль ишо что, то уж, совсем наоборот, звиняйте.

Дело и сорвалось бы: Пантелей Прокофьевич пыхтел и наливался бураковым соком, невестина мать кудахтала, как наседка на тень коршуна, но в нужную минуту ввязалась Василиса. Посыпала мелкой тишайшей скороговоркой, будто солью на обожженное место, и связала разрыв.

– Что уж там, родимые мои! Раз дело такое зашло, значит, надо порешить его порядком и дитю своему на счастье... Хучь бы и Наталья – да таких-то девок по белу свету поискать! Работа варом в руках: что рукодельница! что хозяйка! И собою, уж вы, люди добрые, сами видите. – Она разводила с приятной округлостью руками, обращаясь к Пантелею Прокофьевичу и надутый Ильиничне. – Он и женишок хучь куда. Гляну, ажник сердце в тоску вдарится, до чего ж на моего покойного Донюшку схож... и семейство ихнее шибко работающее. Прокофьич-то – кинь по округе – всему свету звестный человек и благодетель... По доброму слову, аль мы детям своим супротивники и лиходеи?

Тек Пантелею Прокофьевичу в уши патокой свашенькин журчливый голосок. Слушал старик Мелехов и думал, восхищаясь: «Эк чешет, дьявол, языкастая! Скажи, как чулок вяжет. Петлюет – успевай разуметь, что и к чему. Иная баба забьет и казака разными словами... Ишь ты, мошь в юбке!» – любовался он свахой, пластавшейся в похвалах невесте и невестинной родне, начиная с пятого колена.

– Чего и гутарить, зла мы дитю своему не желаем.

– Про то речь, что выдавать, кубыть, и рано, – миротворил хозяин, лоснясь улыбкой.

– Не рано! Истинный бог, не рано! – уговаривал его Пантелей Прокофьевич.

– Придется, рано ль, поздно ль, расставаться... – всхлипнула хозяйка полупритворно, полуйскренне.

– Кличь дочерю, Мирон Григорьевич, поглядим.

– Наталья!

В дверях несмело стала невеста, смуглыми пальцами суетливо перебирая оборку фартука.

– Пройди, пройди! Ишь засовестилась, – подбодрила мать и улыбнулась сквозь слезную муть.

Григорий, сидевший возле тяжелого – в голубых слинялых цветах – сундука, глянул на нее.

Под черной стоячей пылью коклюшкового⁹ шарфа смелые серые глаза. На упругой щеке дрожала от смущения и сдержанной улыбки неглубокая розовеющая ямка. Григорий перевел взгляд на руки: большие, раздавленные работой. Под зеленой кофточкой, охватившей плотный сбитень тела, наивно и жалко высывались, поднимаясь вверх и врозь, небольшие девичье-каменные груди, пуговками торчали остренькие соски.

Григорьевы глаза в минуту обежали всю ее – с головы до высоких красивых ног. Осмотрел, как барышник оглядывает матку-кобылицу перед покупкой, подумал: «Хороша» – и встретился с ее глазами, направленными на него в упор. Бесхитростный, чуть смущенный, правдивый взгляд словно говорил: «Вот я вся, какая есть. Как хочешь, так и суди меня». – «Славная», – ответил Григорий глазами и улыбкой.

– Ну ступай. – Хозяин махнул рукой.

Наталья, прикрывая за собой дверь, глянула на Григория, не скрывая улыбки и любопытства.

– Вот что, Пантелей Прокофьевич, – начал хозяин, переглянувшись с женой, – посоветуйте вы, и мы посоветуем промеж себя, семейно. А потом уж и порешим дело, будем мы сватами аль не будем.

Сходя с крыльца, Пантелей Прокофьевич сулил:

– К пребудущему воскресенью набегем.

Хозяин, провожавший их до ворот, умышленно промолчал, как будто ничего и не слышал.

XVI

Только после того как узнал от Томилина про Аксинью, понял Степан, вынашивая в душе тоску и ненависть, что, несмотря на плохую жизнь с ней, на ту давнишнюю обиду, любил он ее тяжелой, ненавидящей любовью.

По ночам лежал в повозке, укрывшись шинелью, заломив над головою руки, думал о том, как вернется домой, как встретит его жена, и чувствовал, словно вместо сердца копошится в груди ядовитый тарантул... Лежал, готовя в уме тысячи подробностей расправы, и было такое ощущение, будто на зубах зернистый и крупный песок. Расплескал злобу в драке с Петром. Домой приехал вялый, поэтому-то легко отделалась Аксинья.

С того дня прижился в астаховском курене невидимый покойник. Аксинья ходила на цыпочках, говорила шепотом, но в глазах, присыпанный пеплом страха, чуть приметно тлел уголек, оставшийся от зажженного Гришкой пожара.

Вглядываясь в нее, Степан скорее чувствовал это, чем видел. Мучился. По ночам, когда в кухне над камельком засыпало мушиное стадо и Аксинья, дрожа губами, стлала постель, бил ее Степан, зажимая рот черной шершавой ладонью. Выспрашивал бесстыдно подробности о связи с Гришкой. Аксинья металась по твердой, с запахом овчины кровати, трудно дышала. Степан, приморившись истязать мягкое, как закрутившее тесто, тело, шарил по лицу ее рукою, слез искал. Но щеки Аксиньи были пламенно сухи, двигались под пальцами Степана, сжимаясь и разжимаясь, челюсти.

– Скажешь?

– Нет!

– Убью!

– Убей! Убей, ради Христа... Отмучаюсь... Не житье...

Стиснув зубы, Степан закручивал на жениной груди прохладную от пота тонкую кожу.

Аксинья вздрагивала, стонала.

⁹ Коклюшковый – связанный на коклюшках, то есть на палочках.

– Больно, что ль? – веселел Степан.

– Больно.

– А мне, думаешь, не больно было?

Засыпал он поздно. Во сне, сжимаясь, двигал черными, пухлыми в суставах пальцами. Акси́нья, приподнявшись на локте, подолгу глядела на красивое, измененное сном лицо мужа. Роняя на подушку голову, что-то шептала.

Гришки она почти не видела. Раз как-то у Дона повстречалась с ним. Григорий пригонял поить быков, поднимался по спуску, помахивая красненькой хворостинкой, глядя под ноги. Акси́нья шла ему навстречу. Увидела и почувствовала, как похолодело под руками коромысло и жаром осыпала кровь виски.

После, вспоминая эту встречу, ей стоило немалых усилий, чтобы уверить себя, что это было наяву. Григорий увидел ее, когда она почти поравнялась с ним. На требовательный скрип ведер приподнял голову, дрогнул бровями и глупо улыбнулся. Акси́нья шла, глядя через его голову на зеленый, дышащий волнами Дон, еще дальше – на гребень песчаной косы.

Краска выжала из глаз ее слезы.

– Ксюша!

Акси́нья прошла несколько шагов и стала, нагнув голову, как под ударом. Григорий, злобно хлестнув хворостиной отставшего муругого быка, сказал, не поворачивая головы:

– Степан когда выедет жито косить?

– Зараз... запрягает.

– Проводишь – иди в наши подсолнухи, в займище, и я приду.

Поскрипывая ведрами, Акси́нья сошла к Дону. У берега желтым пышным кружевом на зеленом подоле волны змеилась пена. Белые чайки-рыболовы с криком носились над Доном.

Серебряным дождем сыпала над поверхностью воды мелочь-рыбешка. С той стороны, за белью песчаной косы, величаво и строго высились седые под ветром вершины старых тополей. Акси́нья, черпая воду, уронила ведро. Поднимая левой рукой юбку, забрела по колено. Вода защекотала натертые подвязками икры, и Акси́нья в первый раз после приезда Степана засмеялась, тихо и неуверенно.

Оглянулась на Гришку: так же помахивая хворостинкой, будто отгоняя оводов, медленно взбирался он по спуску.

Акси́нья ласкала мутным от прихлынувших слез взором его сильные ноги, уверенно попиравшие землю. Широкие Гришкины шаровары, заправленные в белые шерстяные чулки, алели лампасами. На спине его, возле лопатки, трепыхался клочок свежепорванной грязной рубахи, желтел смуглый треугольник оголенного тела. Акси́нья целовала глазами этот крохотный, когда-то ей принадлежавший кусочек любимого тела; слезы падали на улыбавшиеся побледневшие губы.

Она поставила на песок ведра и, цепляя дужку зубцом коромысла, увидела на песке след, оставленный остроносым Тришкиным чириком. Воровато огляделась – никого, лишь на дальней пристани купаются ребяташки. Присела на корточки и прикрыла ладонью след, потом вскинула на плечи коромысло и, улыбаясь на себя, зашпешила домой.

Над хутором, задернутое кисейной полумглой, шло солнце. Где-то под курчавым табуном белых облачков сияла глубокая, прохладная пастбищная синь, а над хутором, над раскаленными железными крышами, над безлюдьем пыльных улиц, над дворами с желтым, выжженным сухменем травы висел мертвый зной.

Акси́нья, плеская из ведер воду на растрескавшуюся землю, покачиваясь, подошла к крыльцу. Степан в широкополой соломенной шляпе запрягал в косилку лошадей. Поправляя шлею на дремавшей в хомуте кобыле, глянул на Акси́нью.

– Налей воды в баклагу.

Акси́нья вылила в баклагу ведро, обожгла руки о железные склепанные обручи.

- Леду бы надо. Степлится вода, – сказала, глядя на мокрую от пота спину мужа.
- Поди возьми у Мелеховых... Не ходи!.. – крикнул Степан, вспомнив.

Аксинья пошла затворять брошенную настежь калитку. Степан, опустив глаза, ухватил кнут.

- Куда?..
- Калитку прикрыть.
- Вернись, подлюга... сказано – не ходи!

Она торопливо подошла к крыльцу, хотела повесить коромысло, но дрогнувшие руки отказались служить – коромысло покатилося по порожкам.

Степан кинул на переднее сиденье брезентовый плащ; усаживаясь, расправил вожжи.

– Ворота отвори.

Распахнув ворота, Аксинья осмелилась спросить:

– Когда приедешь?

– К вечеру. Сложился косить с Аникушкой. Харчи ему отнеси. Из кузни придет – поедет на́ поля.

Мелкие колеса косилки, повизгивая, врезаясь в серый плюш пыли, выбрались за ворота. Аксинья вошла в дом, постояла, прижимая ладони к сердцу, и, накинув платок, побежала к Дону.

«А ну как вернется? Что тогда?» – опалила мысль. Стала, словно под ногами увидела глубокий яр, поглядела назад и – чуть не рысью по-над Доном к займищу.

Плетни. Огороды. Желтая марь засматривающих солнцу в глаза подсолнухов. Зеленый в бледной цветени картофель. Вот шамилевские бабы, припоздав, допалывают картофельную делянку; согнутые, в розовых рубашках спины, короткие взлеты мотыг, падающих на серую пахоту. Аксинья, не переводя духа, дошла до мелеховского огорода. Оглянувшись; скинув хворостинный кляч с устоя, открыла дверцы. По утопанной стежке дошла до зеленого частокола подсолнечных будыльев. Пригибаясь, забралась в самую гущину, измазала лицо золотистой цветочной пылью; подбирая юбку, присела на расшитую повителью землю.

Прислушалась: тишина до звона в ушах. Где-то вверху одиноко гудит шмель. Полые, в щетинистом пушке будылья подсолнечников молча сосут землю.

С полчаса сидела, мучаясь сомнением – придет или нет, хотела уж идти, привстала, поправляя под платком волосы, – в это время тягуче заскрипели дверцы. Шаги.

- Аксютка!
- Сюда иди...
- Ага, пришла.

Шелестя листьями, подошел Григорий, сел рядом. Помолчали.

– В чем это у тебя щека?

Аксинья рукавом размазала желтую пахучую пыль.

- Должно, с подсолнуха.
- Ишо вот тут, возле глаза.

Вытерла. Встретились глазами. И, отвечая на Гришкин немой вопрос, заплакала.

– Мочи нету... Пропала я, Гриша.

– Чего ж он?

Аксинья злобно рванула ворот кофты. На вывалившихся розоватых, девически крепких грудях вишнево-синие частые подтеки.

– Не знаешь чего?.. Бьет каждый день!.. Кровь высасывает!.. И ты тоже хорош... Напаскудил, как кобель, и в сторону... Все вы... – Дрожащими пальцами застегивала кнопки и испуганно – не обиделся ли – глядела на отвернувшегося Григория.

– Виноватого ищешь? – перекусывая травяную былку, протянул он.

Спокойный голос его обжег Аксинью.

– Аль ты не виноват? – крикнула запальчиво.

– Сучка не захочет – кобель не вскочит.

Аксинья закрыла лицо ладонями. Крепким, рассчитанным ударом упала обида.

Морщась, Григорий сбоку поглядел на нее. В ложбинке между указательным и средним пальцами просачивалась у нее слеза.

Кривой, запыленный в зарослях подсолнухов луч просвечивал прозрачную капельку, сушил оставленный ею на коже влажный след.

Григорий не переносил слез. Он беспокойно заерзал по земле, ожесточенно стряхнул со штанины коричневого муравья и снова коротко взглянул на Аксинью. Она сидела не изменив положения, только на тыльной стороне ладони вместо одной уже три слезные дробинки катились вперед.

– Чего кричишь? Обидел? Ксюша! Ну, погоди... Пстой, хочу что-то сказать.

Аксинья оторвала от мокрого лица руки.

– Я за советом пришла... За что ж ты?.. И так горько... а ты...

«Лежачего вдарил...» – Григорий побагровел.

– Ксюша... сбыхнул словцо, ну, не обижайся...

– Я не навязываться пришла... Не бойсь!

В эту минуту она сама верила, что не затем пришла, чтобы навязываться Григорию; но когда бежала над Доном в займище, думала, не отдавая себе ясного отчета: «Отговорю! Нехай не женится. С кем же жизнь свяжу?!» Вспомнила тогда о Степане и норовисто мотнула головой, отгоняя нехотят подвернувшуюся мысль.

– Значится, кончилась наша любовь? – спросил Григорий и лег на живот, облокотившись и выплевывая розовые, изжеванные под разговор лепестки повительного цветка.

– Как кончилась? – испугалась Аксинья. – Как же это? – переспросила она, стараясь заглянуть ему в глаза.

Григорий ворочал синими выпуклыми белками, отводил глаза в сторону.

Пахла выветренная, истощенная земля пылью, солнцем. Ветер шуршал, переворачивая зеленые подсолнечные листья. На минуту затуманилось солнце, заслоненное курчавой спиной облака, и на степь, на хутор, на Аксиньину понурюю голову, на розовую чашечку цветка повители упала, клубясь и уплывая, дымчатая тень.

Григорий вздохнул – с выхрипом вышел вздох – и лег на спину, прижимая лопатки к горячей земле.

– Вот что, Аксинья, – заговорил он, медленно расставляя слова, – муторно так-то, сосет где-то в грудях. Я надумал...

Над огородом, повизгивая, поплыл скрип арбы.

– Цоб, лысый! Цобэ! Цобэ!..

Окрик показался Аксинье настолько громким, что она ничком упала на землю. Григорий, приподнимая голову, шепнул:

– Платок сими. Белеет. Как бы не увидали.

Аксинья сняла платок. Струившийся между подсолнухами горячий ветер затрепал на шее завитки золотистого пуха. Утихая, повизгивала отъезжавшая арба.

– Я вот что надумал, – начал Григорий и оживился, – что случилось, того ить не вернешь, чего ж тут виноватого искать? Надо как-то дальше проживать...

Аксинья, насторожившись, слушала, ждала, ломала отнятую у муравья былку.

Глянула Григорию в лицо – уловила сухой и тревожный блеск его глаз.

– ...Надумал я, давай с тобой прикончим...

Качнулась Аксинья. Скрюченными пальцами вцепилась в жилистую повитель. Раздувая ноздри, ждала конца фразы. Огонь страха и нетерпения жадно лизал ей лицо, сушил во рту

слюну. Думала, скажет Григорий: «...прикончим Степана», но он досадливо облизал пересохшие губы (тяжело ворочались они), сказал:

– ...прикончим эту историю. А?

Аксинья встала, натываясь грудью на желтые болтающиеся головки подсолнечников, пошла к дверцам.

– Аксинья! – придушенно окликнул Григорий.

В ответ тягуче заскрипели дверцы.

XVII

За житом – не успели еще свозить на гумна – подошла и пшеница. На суглинистых местах, на пригорках желтел и сворачивался в трубку подгорающий лист, пересыхал отживший свое стебель.

Урожай, хвалились люди, добрый. Колос ядреный, зерно тяжеловесное, пухлое.

Пантелей Прокофьевич, посоветовавшись с Ильиничной, порешил – если сосватают у Коршуновых, отложить свадьбу до крайнего спаса.

За ответом еще не ездили: тут покос подошел, а тут праздника ждали.

Косить выехали в пятницу. В косилке шла тройка лошадей. Пантелей Прокофьевич подтесывал на арбе люшню, готовил хода к возке хлеба. На покос выехали Петро и Григорий.

Григорий шел, придерживаясь за переднее стульце, на котором сидел брат; хмурился. От нижней челюсти, наискось к скулам, дрожа, перекатывались желваки. Петро знал: это верный признак того, что Григорий кипит и готов на любой безрассудный поступок, но, посмеиваясь в пшеничные свои усы, продолжал дразнить брата:

– Ей-бо, рассказывала!

– Ну и пушай, – урчал Григорий, прикусывая волосок усыны.

– «Иду, гутарит, с огорода, слышу: в мелеховских подсолнухах, кубыть, людские голоса».

– Петро, брось!

– Да-а-а... голоса. «Я это, дескать, заглянула через плетень...» Григорий часто заморгал глазами.

– Перестанешь? Нет?

– Вот чудак, дай досказать-то!

– Гляди, Петро, подеремся, – пригрозил Григорий, отставая. Петро пошевелил бровями и пересел спиной к лошадям, лицом к Григорию, шагавшему позади.

– «Заглянула, мол, через плетень, а они, любушки, лежат в обнимку». – «Кто?» – спрашиваю, а она: «Да Аксютка Астахова с твоим братом». Я говорю...

Григорий ухватил за держак короткие вилы, лежавшие в задке косилки, кинулся к Петру. Тот, бросив вожжи, прыгнул с сиденья, вильнул к лошадям наперед.

– Тю, проклятый!.. Сбесился!.. Тю! Тю! Глянь на него...

Оскалив по-волчьи зубы, Григорий метнул вилы. Петро упал на руки, и вилы, пролетев над ним, на вершок вошли в кремнисто-сухую землю, задрожали, вызванивая.

Потемневший Петро держал под уздцы взволнованных криком лошадей, ругался:

– Убить бы мог, сволочь!

– И убил бы!

– Дурак ты! Черт бешеный! Вот в батину породу выродился, истованный черкесюка!

Григорий выдернул вилы, пошел следом за тронувшейся косилкой.

Петро поманил его пальцем:

– Поди ко мне. Дай-ка вилы.

Передал в левую руку вожжи и взял вилы за выбеленный зубец. Дернул ничего не ожидавшего Григория держакон вдоль спины.

– С потягом бы надо! – пожалел, оглядывая отпрыгнувшего в сторону Григория.

Через минуту, закуривая, глянули друг другу в глаза и захохотали.

Христонина жена, ехавшая с возом по другой дороге, видела, как Гришка запустил вилами в брата. Она привстала на возу, но не могла разглядеть, что происходило у Мелеховых, – заслоняли косилка и лошади. Не успела въехать в проулок, крикнула соседке:

– Климовна! Надбеги, скажи Пантелею-турку, что ихние ребята возля Татаровского кургана вилами попоролась. Задрались, а Гришка – ить он же взгальный! – как саданет Петра вилами в бок, а энтот тем часом его... Там кровищи натекло – страсть!

Петро уж охрип орать на нудившихся лошадей и залиvisto посвистывал. Григорий, упираясь черной от пыли ногой в перекадину, смахивал с косилки наметанные крыльями валы. Лошади, в кровь иссеченные мухами, крутили хвостами и недружно натягивали постромки.

По степи, до голубенькой каемки горизонта, копошились люди. Стрекотали, чечекали ножи косилок, пятнилась валами скошенного хлеба степь. Передразнивая погоньей, свистели на кургашках сурки.

– Ишо два загона – и закурим! – сквозь свист крыльев и перестук косогона крикнул, оборачиваясь, Петро.

Григорий только кивнул. Обветренные, порепавшиеся губы трудно было разжимать. Он короче перехватил вилы, чтоб легче было метать тяжелые вороха хлеба, порывисто дышал. Мокрая от пота грудь чесалась. Из-под шляпы тек горький пот, попадая в глаза, щипал, как мыло. Остановив лошадей, напились и закурили.

– По шляху кто-то верхи беget, – глядя из-под ладони, проговорил Петро.

Григорий всмотрелся и изумленно поднял брови:

– Батя, никак.

– Очумел ты! На чем он поскачет, кони в косилке ходют. – Он.

– Обознался, Гришка!

– Ей-богу, он!

Через минуту ясно стало видно лошадь, стлавшуюся в броском намёте, и седока.

– Батя... – Петро в испуганном недоумении затоптался на месте.

– Должно, дома что-нибудь... – высказал Григорий общую мысль.

Пантелей Прокофьевич, не доезжая саженьей сто, придержал лошадь, затрусил рысью.

– Пе-ре-по-рю-ю-у-у... сукины сыны!... – завопил он еще издали и размотал над головой ременный арапник.

– Чего он? – окончательно изумился Петро, до половины засовывая в рот пшеничный свой ус.

– Хоронись за косилку! Истинный бог, стебанет кнутом. Покель разберемся, а он выпорет... – посмеиваясь, сказал Григорий и на всякий случай зашел на ту сторону косилки.

Взмыленная лошадь шла по жнивью тряской рысцей. Пантелей Прокофьевич, болтая ногами (ехал он без седла, охлюпкой), потрясал арапником.

– Что вы тут наделали, чертово семя?!

– Косим... – Петро развел руками и опасливо покосился на арапник.

– Кто кого вилами порол? За что дрались?..

Повернувшись к отцу спиной, Григорий шепотом считал разметанные ветром облака.

– Ты что? Какими вилами? Кто дрался?.. – Петро, моргая, глядел на отца снизу вверх, переступая с ноги на ногу.

– Да как же, мать ее курица, прибегла и орет: «Ребята ваши вилами попоролась!» А? Это как?.. – Пантелей Прокофьевич иступленно затряс головой и, бросив повод, соскочил с задыхавшейся лошади. – Я у Семишкина Федьки коня ухватил да в намёт. А?..

– Да кто это говорил?

– Баба!..

– Брешет она, батя! Спала, проклятая, на возу, и привиделось ей такое.

– Баба! – визгливо закричал Пантелей Прокофьевич, измываясь над собственной бородой. – Климовна-курва! Ах ты бо-ж-же мой!.. А? Запорю сучку!.. – Он затоптал ногами, припадая на левую, хромую.

Подрагивая от немого смеха, Григорий глядел под ноги. Петро глаз не спускал с отца, поглаживая потную голову.

Пантелей Прокофьевич напрыгался и притих. Сел на косилку, проехал, скидывая, два загона и, чертыхаясь, влез на лошадь. Выехал на шлях, обогнав два воза с хлебом, запыхавшись, в хутор. На борозде остался позабытый мелко витой, с нарядным махром арапник. Петро pokrutil его в руках, головой покачал – и к Гришке:

– Было б нам с тобой, парнишша. Ишь это разве арапник? Это, брат, увечье – голову отсечь можно!

XVIII

Коршуновы слыли первыми богачами в хуторе Татарском. Четырнадцать пар быков, косяк лошадей, матки с Провальских заводов, полтора десятка коров, пропасть гулевого скота, гурт в несколько сот овец. Да и так поглядеть есть на что: дом не хуже моховского, о шести комнатах – под железом, ошелеван пластинами. Дворовая служба крыта черепицей, нарядной и новой; сад – десятины полторы с левадой. Чего же еще человеку надо?

Поэтому-то с робостью и затаенной неохотой ехал в первый раз Пантелей Прокофьевич свататься. Коршуновы для своей дочери жениха не такого, как Григорий, могли подыскать. Пантелей Прокофьевич понимал это, боялся отказа, не хотел кланяться своему Коршунову; но Ильинична точила его, как ржавь железо, и под конец сломила упрямство старика. Пантелей Прокофьевич согласился и поехал, кляня в душе и Гришку, и Ильиничну, и весь белый свет.

Надо было ехать во второй раз, за ответом: ждали воскресенья, а в это время под крашенной медянкой крышей коршуновского куреня горела глухая междоусобица. После отъезда сватов невеста на материн вопрос ответила:

– Люб мне Гришка, а больше ни за кого не пойду!

– Нашла жениха, дуреха, – урезонивал отец, – только и доброго, что черный, как цыган. Да рази я тебе, моя ягодка, такого женишка сыщу?

– Не нужны мне, батенька, другие... – Наталья краснела и роняла слезы. – Не пойду, пущай и не сватают. А то хучь в Усть-Медведицкий монастырь везите...

– Потаскун, бабник, по жалмеркам бегаёт, – козырял отец последним доводом, – слава на весь хутор легла.

– Ну и нехай!

– Тебе нехай, а мне и подавно! С моей руки – куль муки, когда такое дело.

Наталья – старшая дочь – была у отца любимицей, оттого не теснил ее выбором. Еще в прошлый мясоед наезжали сваты издалека, с речки Цуцкана, богатые невпроворот староверы-казаки; прибивались и с Хопра сваты и с Чира¹⁰, но женихи Наталье не нравились, и пропадала даром сватовская хлеб-соль. Мирону Григорьевичу в душе Гришка нравился за казацкую удаль, за любовь к хозяйству и работе. Старик выделил его из толпы станичных парней еще тогда, когда на скачках Гришка за джигитовку снял первый приз; но казалось обидным отдать дочь за жениха небогатого и опороченного дурной славой.

¹⁰ Хопер – левый, Чир – правый приток Дона.

– Работящий паренек и собой с лица красивенький... – нашептывала по ночам ему жена, поглаживая его засеянную веснушками и рыжей щетиной руку, – а Наталья, Григорич, по нем чисто ссохлась вся... Дюже к сердцу пришелся.

Мирон Григорьевич поворачивался спиной к жениной костлявой холодной груди, сердито бурчал:

– Отвяжись, репей! Выдавай хучь за Пашу-дурачка, мне-то что? То-то умом бог обнес! «С лица красивенький»... – косноязычия он. – Что, ты с его морды урожай будешь сымать, что ли?..

– Так уж урожай...

– Да понятно, на что тебе его личность? Был бы он из себя человек. Да мне, признаться, и зазорно трошки выдавать свою дочерю к туркам. Уж были бы люди как люди... – гордился Мирон Григорьевич, подпрыгивая на кровати.

– Работящая семья и при достатке... – нашептывала жена и, придвигаясь к плотной спине мужа, успокаивающе гладила его руку.

– Э, черт, отодвинься, что ли! Чисто тебе места окромя нету. Что ты меня гладишь-то, как стельную корову? А с Натальей как знаешь. Выдавай хучь за стриженую девку!..

– Дитя своего жалеть надо. Бог с ним – и с богатством... – сипела Лукинична в заросшее волосами ухо Мирона Григорьевича.

Тот сучил ногами, влипал в стенку и всхрапывал, будто засыпая.

Приезд сватов застал их врасплох. После обедни подкатили те на тарантасе к воротам. Ильинична, наступив на подножку, едва не опрокинула тарантаса, а Пантелей Прокофьевич прыгнул с сиденья молодым петухом; хотя и осушил ноги, но виду не подал и молодецки зачилял к курению.

– Вот они! Как черт их принес! – охнул Мирон Григорьевич, выглядывая в окно.

– Светики-кормилицы, я-то как стряпалась, так и не скинула буднюю юбку! – вскудахта-лась хозяйка.

– Хороша и так! Небось, не за тебя сватаются, кому нужна-то, лишай конский!..

– Сроду безобразник, а под старость дюжей свихнулся.

– Но-но, ты у меня помалкивай!

– Рубаху ба чистую надел, кобаржину вон на спине видать, и не совестно? Ишь нечистый дух! – ругалась жена, оглядывая Мирона Григорьевича, пока сваты шли по базу.

– Небось, гляди, угадают и в этой. Рогожку надену, и то не откажутся.

– Доброго здоровья! – спотыкаясь о порог, кукарекнул Пантелей Прокофьевич и, сконфузясь зычного своего голоса, лишний раз перекрестился на образ.

– Здравствуйте, – приветствовал хозяин, чертом оглядывая сватов.

– Погодку дает бог.

– Слава богу, держится.

– Народ хучь трошки подуправится.

– Уж это так.

– Та-а-ак.

– Кгм.

– Вот мы и приехали, значит, Мирон Григорич, с тем чтоб узнать, как вы промеж себя надумали и сойдемся ли сватами али не сойдемся...

– Проходите, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста, – приглашала хозяйка, кланяясь, обметая подолом длинной сборчатой юбки натертый кирпичом пол.

– Не беспокойтесь, пожалуйста.

Ильинична уселась, шелестя поплином подворачиваемого платья. Мирон Григорьевич облокотился о принаряженный новой клеенкой стол, помолчал. От клеенки дурно пахло мокрой резиной и еще чем-то; важно глядели покойники цари и царицы с каемчатых углов, а на

середине красовались августейшие девицы в белых шляпах и обсиженный мухами государь Николай Александрович.

Мирон Григорьевич порвал молчание:

– Что ж... Порешили мы девку отдать. Породнимся, коли сойдемся...

В этом месте речи Ильинична откуда-то из неведомых глубин своей люстриновой, с буфами на рукавах, кофты, как будто из-за спины, выволокла наружу высокий белый хлеб, положила его на стол.

Пантелей Прокофьевич хотел зачем-то перекреститься, но заскорузлые клешнятые пальцы, сложившись в крестное знамение и поднявшись до половины следующего пути, изменили форму: большой черный ногтястый палец против воли хозяина нечаянно просунулся между указательным и средним, и этот бесстыдный узелок пальцев воровато скользнул за оттопыренную полу синего чекменя, а оттуда извлек схваченную за горло красноголовую бутылку.

– Давайте теперь, дорогие вы мои сваточки, помолимся богу, и выпьем, и поговорим про наших деточек и про уговор...

Пантелей Прокофьевич, растроганно моргая, глядел на засеянное конопушками лицо свата и ласково шлепал широкой, как лошадиное копыто, ладонью по дну бутылки.

Через час сваты сидели так тесно, что смолянистые кольца мелеховской бороды щупали прямые рыжие пряди коршуновской. Пантелей Прокофьевич сладко дышал соленым огурцом и уговаривал.

– Дорогой мой сват, – начинал он гудящим шепотом, – дорогой мой сваточек! – сразу повышал голос до крика. – Сват! – ревел он, обнажая черные, притуплённые резцы. – Кладка ваша чересчур очень дюже непереносимая для меня! Ты вздумай, дорогой сват, вздумай, как ты меня желаешь обидеть: гетры с калошами – раз, шуба донская – два, две платья шерстяных – три, платок шелковый – четыре. Ить это разор-ре-нья!..

Пантелей Прокофьевич широко разводил руками, швы на плечах его лейб-казацкого мундира трещали, и пучками поднималась пыль. Мирон Григорьевич, снизив голову, глядел на залитую водкой и огуречным рассолом клеенку. Прочитал вверх завитую затейливым рисунком надпись: «Самодержцы всероссийские». Повел глазами пониже: «Его императорское величество государь император Николай...» Дальше легла картофельная кожура. Всмотрелся в рисунок: лица государя не видно, стоит на нем опорожненная водочная бутылка. Мирон Григорьевич, благоговейно моргая, пытался разглядеть форму богатого, под белым поясом мундира, но мундир был густо заплеван огуречными скользкими семечками. Из круга бесцветно одинаковых дочерей самодовольно глядела императрица в широкополой шляпе. Стало Мирону Григорьевичу обидно до слез. Подумал: «Глядишь зараз дюже гордо, как гусыня из кошелки, а вот придется дочек выдавать замуж – тогда я по-гля-жу-у... небось, тогда запрядаешь!»

Под ухом его большим черным шмелем гудел Пантелей Прокофьевич.

Поднял Коршунов на него в мутной слизи глаза, прислушался.

– Нам, чтоб справиться для твоей, а теперя оно все одно и моей дочери... для моей и твоей дочери такую кладку... опять же гетры с калошами и шуба донская... нам надо скотиняку с базу согнать и продать.

– Жалко?.. – Мирон Григорьевич стукнул кулаком.

– Не в том случае, что жалко...

– Жалко?

– Погоди, сват...

– А коли жалко, так!..

Мирон Григорьевич повел растопыренной потной рукой по столу, сгреб на пол рюмки.

– Твоей же дочери жить придется и наживать!

– И пу-щай! А кладку клади, иначе не сваты!..

– Скотину с базу сгонять... – Пантелей Прокофьевич крутил головой. Серьга дрожала в ухе, скупно поблескивая.

– Кладка должна быть!.. У ней своего наряду сундуки, а ты мне-е-е уважь, ежели по сердцу она вам пришлась!.. Такая наша казацкая повадка. В старину было, а нам – к старине лепиться...

– Уважу!..

– Уважь.

– Уважу!..

– А наживать – пушай молодые наживают. Мы нажили и живем не хуже людей, мать их черт, нехай и они наживут себе!..

Сваты сплели бороды разномастным плетнем. Пантелей Прокофьевич заел поцелуй бес-сочным, вялым огурцом и заплакал от многих, слившихся воедино, чувств.

Свахи, обнявшись, сидели на сундуке, глушили одна другую треском голосов. Ильинична полыхала вишневым румянцем, сваха ее зеленела от водки, как зашибленная морозом лесная груша-зимовка.

– ...Дитё, таких-то и на свете нет! Была б тебе слухменная и почтительная, уж эта из-под власти не выйдет. Слово, милая свашенька, впоперек боится сказать...

– И-и-и, моя милушка, – перебивала ее Ильинична, левой рукой подпирая щеку, а правой поддерживая под локоть левую, – до скольких разов гутарила ему, сукиному сыну! В надышнее воскресенье так-то вечером собирается идтить, табаку в кисет сыпет, а я и говорю: «Ты когда ж ее бросишь, анчибел проклятый? До каких пор мне такую страму на старости лет примать? Ить он, Степан, вязы¹¹ тебе в одночасье свернет!..»

Из кухни в горницу через верхнюю дверную щель выглядывал Митька, внизу шушукались две младшие Натальины сестренки.

Наталья сидела в дальней угловой комнате на лежанке, сушила слезы узким рукавом кофточки. Пугала ее новая, стоявшая у порога жизнь, томила неизвестностью.

В горнице доканчивали третью бутылку водки; сводить жениха с невестой порешили на первый спас.

XIX

В коршуновском курене предсвадебная суета. Невесте наспех дошивали кое-что из белья. Наталья вечера просиживала, вывязывая жениху традиционный шарф из козьего дымчатого пуха и пуховые перчатки.

Мать ее Лукинична гнулась до потемок над швейной машиной – помогала портнихе, взятой из станицы.

Митька приезжал с отцом и работниками с поля, – не умываясь и не скидывая с намотанных ног тяжелых полевых чириков, проходил к Наталье в горницу, подсаживался. Изводить сестру было для него большущим удовольствием.

– Вяжешь? – коротко спрашивал он и подмигивал на пушистые махры шарфа.

– Вяжу, а тебе чего?

– Вяжи-вяжи, дура, а он замест благодарности морду тебе набьет.

– За что?

– За здорово живешь – я Гришку знаю, друзьяки с ним. Это такой кобель – укусит и не скажет за что.

– Не бреши уж! Кубыть, я его не знаю.

– Я-то подюжей знаю. В школу вместе ходили.

¹¹ Вязы – шея.

Митька тяжело и притворно вздыхал, разглядывая исцарапанные вилами ладони, низко гнул высокую спину.

– Пропадешь ты за ним, Наташка! Сиди лучше в девках. Чего в нем доброго нашла? Ну? Страшон – конем не наедешь, дурковатый какой-то... Ты приглядишься: по-га-ный парень!..

Наталя сердилась, глотала слезы, клонила над шарфом жалкое лицо.

– А главное – сухота у него есть... – безжалостно ехидничал Митька. – Чего же ты кричишь? Глупая ты, Наташка. Откажись! Я зараз заседлаю коня и поеду скажу: мол, не заявляйтесь боле...

Выручал Наталию дед Гришака: входил он в горенку, щупая шишкастым костылем прочность пола и разглаживая желтую коноплю свалывшейся бороды; тыча в Митьку костылем, спрашивал:

– Ты чего, поганец, заявился сюда, ась?

– На провед зашел, дедуня, – оправдывался Митька.

– Проведать? Ась? Я тебе, поганец, велю уйтить отселя. Шагом – арш!

Дед взмахивал костылем и подступал к Митьке, нетвердо переставляя высохшие в былку ноги.

Дед Гришака топтал землю шестьдесят девять лет. Участвовал в турецкой кампании 1877 года, состоял ординарцем при генерале Гурко, попал в немилость и был отослан в полк. За боевые отличия под Плевной и Рошичем имел два Георгия и георгиевскую медаль и, доживая у сына, пользуясь в хуторе всеобщим уважением за ясный до старости ум, неподкупную честность и хлебосольство, короткие остатки жизни тратил на воспоминания.

Летом с восхода до заката солнца сиживал на завалинке, чертил костылем землю, угнув голову, думал неясными образами, обрывками мыслей, плывущими сквозь мглу забвения тусклыми ответами воспоминаний...

От потрескавшегося козырька казачьей слинявшей фуражки падала на черные веки закрытых глаз черная тень; от тени морщины щек казались глубже, седая борода отливала сизью. По пальцам, скрещенным над костылем, по кистям рук, по выпуклым черным жилам шла черная, как чернозем в логу, медленная в походе кровь.

Год от году холодела кровь. Жалился дед Гришака Наталие – любимой внучке:

– Шерстяные чулки, а не греют мои ноженьки. Ты мне, чадущка, свяжи крючковые.

– Что ты, дедуня, ить зараз лето! – смеялась Наталя и, подсаживаясь на завалинку, глядела на большое морщенное и желтое ухо деда.

– Дык что ж, моя чадунюшка, хучь оно и лето, а кровь, как земля в глубе, холодная.

Наталя смотрела на сетчатку жил на дедовой руке, вспоминала: во дворе рыли колодец, и она – тогда еще девчонка, – вычерпывая из бадьи влажную глину, делала тяжелых кукол и коров с рассыпчатыми рогами. Она живо восстанавливала в памяти ощущение, испытываемое руками от прикосновения к мертвой, леденистой земле, добытой с пятисаженной глубины, и уже со страхом смотрела на дедовы руки в коричневых, глиняного цвета, старческих веснушках.

Казалось ей, что по дедовым рукам течет не веселая алая кровь, а буро-синяя суглинистая земля.

– Боишься помирать, дедуня? – спрашивала она.

Дед Гришака крутил тонкой, в морщинах и сухожилиях шеей, словно выпрастывал ее из стоячего воротника поношенного мундира; шевелил зеленой сединой усов.

– Жду смертыньку, как дорогого гостя. Пора уж... и пожил, и царям послужил, и водки попил на своем веку, – добавлял он, улыбаясь белозубым ртом и дрожа морщинками глаз.

Наталя гладила дедовы руки и отходила, а он, все так же сгорбившись, царапая землю вытертым у ручки костылем, сидел на завалинке в сереньком, заштопанном во многих местах мундире, и молодо и задорно смеялись красные веселые петлицы на тугом стоячем воротнике.

Известие о том, что Наталью сватают, принял он с внешним спокойствием, но в душе горевал и злобился: Наталья за столом подсовывала ему лучший кусок, Наталья стирала его белье, штопала, вязала чулки и чинила шаровары и рубахи, – оттого дед Гришака, узнав, и глядел дня два на нее с суровой строгостью.

– Мелеховы – славные казаки. Покойный Прокофий молодецкий был казачок. А внуки как? Ась?

– И внуки ничего, – уклончиво отвечал Мирон Григорьевич.

– Гришка-то непочтительный, поганец. Надесь иду из церкви, встретился со мной и не поздравствовался. Старики ноне не дюже в почете...

– Он ласковый паренек, – вступилась Лукинична за будущего зятя.

– Ась? Ласковый, гутаришь? Ну что ж, давай бог. Абы Наташке по душам был...

В сговоре дед Гришака участия почти не принимал, на минутку выполз из горенки, посидел за столом, с трудом процедил сквозь суженное горло рюмку водки и, согревшись, чувствуя, что пьянеет, ушел.

Два дня молча поглядывал на встревоженно-счастливую Наталью, жевал, двигал пучками белых с прозеленью усов; потом, видно, смягчился.

– Наташка! – окликнул как-то.

Наталья подошла.

– Ты чего же, внучушка, рада, небось? Ась?

– Я и сама не знаю, дедуня, – призналась Наталья.

– Ну-ну... ну-ну... Ишь ты... Ну, Христос с тобой. Дай бог. – И с досадой и горечью упрекнул: – Не дождалась, поганка, покуда помру, тогда бы и вышла... Без тебя горькая будет мне жизнь.

Митька, подслушавший из кухни их разговор, сказал:

– Ты, дед, может, ишо сто годов проживешь, а она будет дожидаться? Штукарь ты добрый. Дед Гришака покраснел до черноты и удушья. Застучал костылем, ногами:

– Цы-ы-ыц, поганец, сукин сын! Пошел!.. Пошел!.. Ах ты, нечистый дух!.. Подслушал, вражина!..

Митька сбежал на баз, посмеиваясь, а дед Гришака долго возмущался, ругал Митьку, и ноги его, обутые в шерстяные короткие чулки, дрожали в коленях.

Две младшие Натальины сестренки: Маришка – подросток лет двенадцати, и Грипка – восьмилетняя пройдоха и баловница – с нетерпением ожидали дня свадьбы.

Сдержанную радость выказывали и работники, постоянно жившие у Коршуновых. Они ждали щедрого от хозяина угощения и надеялись на пару свободных во время гульбы дней. Один из них, высокий – с колодезный журавль – богучарский украинец с диковинной фамилией Геть-Баба, в полгода раз пил запоем. Пропивал все с себя и заработок. Давно уже подмывало его знакомое чувство сосущей тошноты, но он сдерживался, приурочивая начало запоя к свадьбе.

Второй, мозглявый и смуглый казачок станицы Мигулинской, по имени Михей, жил у Коршуновых недавно; разоренный пожаром, нанялся в работники и, сдружившись с Гетьком (так сокращенно звали Геть-Бабу), начал время от времени попивать. Был он страстным любителем лошадей; подвыпив, плакал, размазывая слезы по остренькому безбровому лицу, приставал к Мирону Григорьевичу:

– Хозяин! Любушка ты моя! Будешь дочерю выдавать – Михейку в поезжанье допусти. Уж я проеду, так видно будет! Сквозь поल्या проскачу и волоска на конях не опалю. У меня самого кони были... Эх!..

Постоянно мрачный и нелюдимый Гетько почему-то привязался к Михею, изводил его одной и той же шуткой.

– Михей, чуешь? Ты какой станицы? – спрашивал его, потирая длинные, по коленные чашечки, руки, и сам же отвечал, меняя голос: «Мигулевский». – А що це ты такой хреновский? – «Та у нас уся порода такая».

Он неизменно и хрипло хохотал над постоянно повторявшейся шуткой, шлепал себя ладонями по длинным, сухим до звона голеним, а Михей ненавидяще оглядывал выбритое Гетьково лицо, кадык, трепетавший на горле, и ругал его «сычом» и «коростой».

Свадьбу назначили в первый мясоед. Оставалось три недели. На успенье приезжал Григорий проведать невесту. Посидел в горенке за круглым столом, полуил семечки и орехи с девками – подругами невесты – и уехал. Наталья его провожала. Под навесом сарая, где кормился у яслей Гришкин конь, подседланный новехоньким нарядным седлом, шмыгнула рукой за пазуху и, краснея, глядя на Григория влюбленными глазами, сунула ему в руку мягкий, таящий тепло девичьих ее груди матерчатый комочек. Принимая подарок, Григорий ослепил ее белизною своих волчьих зубов, спросил:

– Это что?

– Там увидишь... кисет расшила.

Григорий нерешительно притянул ее к себе, хотел поцеловать, но она с силой уперлась руками ему в грудь, гибко перегнулась назад и со страхом метнула глазами на окна.

– Увидют!

– А нехай!

– Совестно...

– Это по-первам, – пояснил Григорий.

Она держала поводья, Григорий, жмурясь, ловил ногой зазубренное стремя. Он уселся поудобней на подушке седла и поехал с база. Наталья отворила ворота, из-под ладони глядела вслед: Григорий сидел по-калмыцки, слегка свесившись на левый бок, ухарски помахивая плетью.

«Одиннадцать дён осталось», – высчитывала в уме Наталья и вздохнула и засмеялась.

XX

Всходит остролистая зеленая пшеница, растет; через полтора месяца грач хоронится в ней с головой, и не видно; сосет из земли соки, выколосится; потом зацветет, золотая пыль кроет колос; набухнет зерно пахучим и сладким молоком. Выйдет хозяин в степь – глядит, не нарадуется. Откуда ни возьмись, забрел в хлеба табун скота: ископытили, в пахоть затолочили грузные колосья. Там, где валялись, – круговины примятого хлеба... дико и горько глядеть.

Так и с Аксиньей: на вызревшее в золотом цветенье чувство наступил Гришка тяжелым сыромятным чириком. Испепелил, испоганил – и все.

Пусто и одичало, как на забытом затравевшем лебедою и бурьяном гумне, стало на душе у Аксиньи после того, как пришла с мелеховского огорода, из подсолнухов.

Шла и жевала концы платка, а горло распирал крик. Вошла в сенцы, упала на пол, задыхнулась в слезах, в муке, в черной пустоте, хлынувшей в голову... А потом прошло. Где-то на доньшке сердца сосало и томилось остренькое.

Встает же хлеб, потравленный скотом. От росы, от солнца поднимается втолоченный в землю стебель; сначала гнется, как человек, надорвавшийся непосильной тяжестью, потом прямитя, поднимает голову, и так же светит ему день, и тот же качает ветер...

По ночам, иступленно лаская мужа, думала Аксинья о другом, и плелась в душе ненависть с великой любовью. В мыслях шла баба на новое бесчестье, на прежний позор: решила отнять Гришку у счастливой, ни горя, ни радости любовной не выдавшей Натальи Коршуновой. По ночам передумывала вороха мыслей, моргала сухими глазами в темь. На правой руке тяжелела во сне голова Степана, красивая, с курчавым длинным чубом на сторону. Он дышал

полуоткрытым ртом, черная рука его, позабытая на жениной груди, шевелила растрескавшимися от работы железными пальцами. Думала Аксинья. Примеряла. Передумывала. Одно лишь решила накрепко: Гришку отнять у всех, залить любовью, владеть им, как раньше.

И на донышке сердца остренькое, похожее на оставленное жало пчелы, точило сукровичную боль.

Это – ночами, а днем топила Аксинья думки в заботах, в суете по хозяйству. Встречала где-либо Гришку и, бледнея, несла мимо красивое, стосковавшееся по нем тело, бесстыдно-зазывно глядела в черную дичь его глаз.

Чувствовал Гришка после встречи с ней сосущую тоску. Без причины злобствовал, срывал зло на Дуняшке, на матери, а чаще всего брал шашку, уходил на задний баз и, омываясь потом, двигая желваками скул, рубил понатыканные в землю толстые хворостины. За неделю нарубил ворох. Пантелей Прокофьевич ругался, сверкал серьгой и желтыми белками глаз:

– Нарубил, дьявол паршивый, на два плетня хватило бы! Ишь чжигит нашелся, мать твоя курица. Вон в хворост поезжай и чжигитуй... погоди, парень, пойдешь на службу, там нарубишься!.. Там вашего брата скоро объездают...

XXI

За невестой в поезжанье нарядили четыре пароконные подводы. По-праздничному нарядные люди толпились на мелеховском базу возле бричек.

Дружко – Петро – в черном сюртуке и голубых с лампасами шароварах, левый рукав его перевязан двумя белыми платками, под пшеничными усами постоянная твердая усмешка. Он – возле жениха.

– Ты, Гришка, не робей! Голову по-кочетиному держи, что насупонился-то?

Возле бричек бестолковщина, шумок.

– Где же подженишник делся? Пора бы выезжать.

– Кум!

– А?

– Кум, ты на второй бричке поедешь. Слышишь, кум?

– Люльки поприцепили на бричках?

– Небось, не рассыпешься и без люлек. Мягкая!

Дарья – в малиновой шерстяной юбке, гибкая и тонкая, как красноталовая хворостинка, – поводя подкрашенными дугами бровей, толкала Петра.

– Пора ехать, говори бате. Там заждались теперича.

Пошептавшись с прихрамавшим откуда-то отцом, Петро распорядился:

– Рассаживайся! На мою бричку пятеро с женихом. Аникей, ты за кучера.

Разместились. Багровая и торжественная Ильинична отворила ворота. Четыре брички захватили по улице наперегонки.

Петро сидел рядом с Григорием. Против них махала кружевной утиркой Дарья. На ухабах и кочках рвались голоса, затянувшие песню. Красные околыши казачьих фуражек, синие и черные мундиры и сюртуки, рукава в белых перевязях, рассыпанная радуга бабьих шалевых платков, цветные юбки. Кисейные шлейфы пыли за каждой бричкой. Поезжанье.

Аникей, сосед Мелеховых, доводившийся Григорию троюродным братом, правил лошадьми. Свешиваясь, почти падая с козел, он щелкал кнутом, взвизгивал, и запотевшие лошади рвали постромки, вытягиваясь в струну.

– Сыпь им! Сыпь!.. – орал Петро.

Безусый скопцеватый Аникей подмигивал Григорию, морща голое, бабье лицо тонкой улыбкой, взвизгивал и порол лошадей кнутом.

– Сто-ро-нись!.. – прогремел, обгоняя их, Илья Ожогин, дядя жениха по материнской линии. За его спиной разглядел Григорий счастливое, с подпрыгивающими смуглыми щеками лицо Дуняшки.

– Нет, погоди!.. – крикнул Аникей, вскочив на ноги, и пронзительно свистнул.

Лошади захлестнулись в бешеной скачке.

– Уп-па-па-де-ошь!.. – визжала Дарья, подпрыгивая, обнимая руками лакированные сапоги Аникея.

– Держись!.. – ухал в стороне дядя Илья. Голос его тонул в сплошном стоне колес.

Остальные две брички, доверху набитые цветными воющими кучами людей, скакали по дороге рядом. Лошади в кумачных, голубых, бледно-розовых пополах, в бумажных цветах, в лентах, заплетенных в гривы и челки, в перезвяке громышков, стлались над кочковатой дорогой, роняя шмотья мыла, и попонки над взмыленными, мокрыми спинами хлопали, рябились, полоскаемые ветром.

У коршуновских ворот поезжанье сторожила ватага ребятишек. Увидели пыль на дороге и сыпанули во двор.

– Едут!

– Скачут!

– За-видне-лись!

Встреченного Гетька окружили.

– Шо згуртовались? Геть, вражьи горобци! Зачулюкалы – аж глушно!

– Хохол-мазница, давай с тобой дражниться! Хохол!.. Хохол!.. Дегтярник!.. – верещала детвора, прыгая вокруг мешочных широких шаровар Гетька.

Тот, наклоняя голову, будто в колодезь засматривая, оглядывал бесновавшихся ребят и чесал длинный тугой живот, снисходительно улыбался.

Брички с гомоном вкатили во двор. Петро повел Григория на крыльцо, следом потекли приехавшие в поезжанье.

Из сеней в кухню дверь заперта. Петро постучался.

– Господи Иисусе Христе, помилуй нас.

– Аминь, – откликнулись из-за двери.

Петро повторил стук и слова до трех раз, ему глухо откликались.

– Разрешите взойти?

– Милости просим.

Дверь распахнулась. Свашка – крестная мать Натальи – вдовая красивая баба, встретила Петра поклоном и тонкой малиновой усмешкой.

– Прими, дружок, на доброе здоровье.

Она протянула стакан с мутным, невыстоявшимся квасом. Петро разгладил усы, выпил, крякнул под общий сдержанный смех.

– Ну, свашенька, и угостила!.. Погоди, ягодка моя ежевишная, я тебя не так угощу, еще наплачешься!..

– Извиняйте, пожалуйста, – кланялась свашка, даря Петра отточенной, с лукавцем, улыбкой.

Пока дружок со свашкой состязались в острословии, жениховой родне, согласно уговору, поднесли по три рюмки водки.

Наталью, уже одетую в подвенечное платье и фату, стерегли за столом. Маришка в вытянутой руке держала скалку, Грипка задорно трясла посевкой.

Запотевший, хмельной от водки Петро с поклоном поднес им в рюмке по полтиннику. Сваха мигнула Маришке, та – по столу скалкой:

– Мало! Не продадим невесту!..

Еще раз поднес Петро позванивающую в рюмке щепоть серебряной мелочи.

– Не отдадим! – лютовали сестры, толкая локтями потупившуюся Наталью.

– Чего уж там! И так плочено-переплочено.

– Уступайте, девки, – приказал Мирон Григорьевич и, улыбаясь, протиснулся к столу. Рыжие волосы его, приглаженные топленным коровьим маслом, пахли потом и навозной прелью.

Сидевшие за столом родственники и близкие невесты встали, очищая место.

Петро сунул Григорию в руку конец платка, вспрыгнул на лавку, повел его по-за столом к невесте, сидевшей под образами. Другой конец взяла Наталья потной от смущенья рукой.

За столом чавкали, раздирая вареную курятину руками, вытирая руки о волосы. Аникей грыз куриную кобаргу, по голому подбородку стекал на воротник желтый жир.

Григорий с внутренним сожалением поглядывал на свою и Натальину ложки, связанные платочком, на дымившуюся в обливной чашке лапшу. Ему хотелось есть, неприятно и глухо бурчало в животе.

Дарья угощалась, сидя рядом с дядей Ильей. Тот, общипывая ядреными клыками баранье ребро, наверное, шептал Дарье непристойности, потому что та, суживая глаза, подрагивая бровями, краснела и посмеивалась.

Ели основательно и долго. Запах смолистого мужского пота мешался с едким и пряным бабьим. От слежавшихся в сундуках юбок, сюртуков и шалек пахло нафталином и еще чем-то сладко-тяжелым – так пахнут старушечьи затасканные канунницы.

Григорий искоса поглядывал на Наталью. И тут в первый раз заметил, что верхняя губа у нее пухловата, свисает над нижней козырьком. Заметил еще, что на правой щеке, ниже скулы, лепится коричневая родинка, а на родинке два золотистых волоска, и от этого почему-то стало муторно. Вспомнил Аксиньину точеную шею с курчавыми пушистыми завитками волос, и явилось такое ощущение, будто насыпали ему за ворот рубахи на потную спину колючей сенной трухи. Поежилась, с задавленной тоской оглядел чавкающих, хлюпающих, жрущих людей.

Когда выходили из-за стола, кто-то, дыша взваром и сытой окисью пшеничного хлеба, нагнулся над ним, всыпал за голенище сапога горсть пшена: для того, чтобы не сделалось чего с женихом с дурного глаза. Всю обратную дорогу пшено терло ногу, тугой ворот рубахи душил горло, и Григорий – удрученный свадебными обрядами – в холодной отчаянной злобе шептал про себя ругательства.

XXII

Отдохнувшие у Коршуновых лошади шли, добираясь до мелеховского база, из последних сил. На ременных шлеях, стекая, клубилась пена.

Подвыпившие кучера гнали безжалостно.

Поезжанье встретили старики. Пантелей Прокофьевич, блистая чернью выложенной сединным серебром бороды, держал икону. Ильинична стояла рядом; каменно застыли ее тонкие губы.

Григорий с Натальей подошли под благословенье, засыпанные винным хмелем и зернами пшеницы. Благословляя, уронил Пантелей Прокофьевич слезу и засуетился, нахмурился, жалея, что люди были свидетелями такой его слабости.

Нареченные вошли в дом. Красная от водки, езды и солнцепека Дарья выскочила на крыльцо, обрушилась на бежавшую из стряпки Дуняшку:

– Где Петро?..

– Не видала.

– К попу надо бечь, а он, проклятый, запропал.

Петро, через меру хлебнувший водки, лежал на арбе, снятой с передка, и стонал. Дарья вцепилась в него коршуном.

– Нажра-а-ался, идолюка! К попу надо бечь!.. Вставай!

– Пошла ты! Не признаю! Ты что за начальство? – резонно заметил тот, шаря по земле руками, сгребая в кучу куриный помет и объедая соломы.

Дарья, плача, просунула два пальца, придавила болтавший несуразное язык, помогла облегчиться. Ошалелому от неожиданности, вылила Петру на голову цебарку колодезной воды, досуха вытерла подвернувшейся под руку попоной, проводила к попу.

Через час Григорий стоял в церкви рядом с похорошевшей в сиянии свечей Натальей, давил в руке восковой стержень свечки, скользя по густой стене шепчущегося народа невидящими глазами, повторял в уме одно назойливое слово: «Отгулялся... отгулялся». Сзади покашливал опухший Петро, где-то в толпе мельтешились Дуняшкины глаза, чьи-то как будто знакомые и незнакомые лица; доносились разнобоистый хор голосов и тягучие возгласы дьякона. Безразличие оковало Григория. Он ходил вокруг налоя, наступая гундосому отцу Виссариону на задники стоптанных сапог, останавливался, когда Петро неприметно дергал его за полу сюртука; глядел на струйчатые косички огней и боролся с сонной, овладевшей им одурью.

– Поменяйтесь кольцами, – сказал отец Виссарион, тепловато глянув Григорию в глаза.

Поменялись. «Скоро кончится?» – спросил Григорий глазами, поймав сбоку Петров взгляд. И Петро шевельнул углами губ, гася улыбку: «Скоро». Потом Григорий три раза целовал влажные безвкусные губы жены, в церкви угарно завоняло чадом потушенных свечей, к выходу загоцали выпиравшие в притвор люди.

Держа в своей руке шершавую крупную руку Натальи, Григорий вышел на паперть. Кто-то нахлобучил ему на голову фуражку. Пахнуло полынным теплым ветерком с юга. Из степи тянуло прохладой. Где-то за Доном синё вилаась молния, находил дождь, а за белой оградой, сливаясь с гулом голосов, зазывно и нежно позванивали бубенцы на переступавших с ноги на ногу лошадях.

XXIII

Коршуновы приехали уже после того, как жениха с невестой увезли в церковь. Пантелей Прокофьевич до этого выходил за ворота, вглядывался вдоль улицы, но серая дорога, промереженная зарослями игольчатой колючки, была наголо вылизана безлюдьем. Он переводил взгляд за Дон. Там приметно желтел лес, вызревший махорчатый камыш устало гнулся над задонским озерцом, над осокой.

Предосенняя, тоскливая, синяя дрема, сливаясь с сумерками, обволакивала хутор, Дон, меловые отроги, задонские, в лиловой дымке тающие леса, степь. За поворотом на шляху у перекрестка тонко вырисовывалась остроугольная верхушка часовни.

До слуха Пантелея Прокофьевича доплыл чуть слышный строчащий перестук колес и собачий брех. С площади на улицу вырвались две брички. На передней, покачиваясь в люльке, сидели рядом МIRON Григорьевич с Лукиничной, против них – дед Гришака в свежем мундире с Георгиями и медалями. Правил Митька, небрежно сидя на козлах, не показывая озверевшим от скачки сытым воронам лошадям подоткнутого под сиденье кнута. На второй Михей, падая назад, передергивал вожжами, силился перевести скакавших лошадей на рысь. Остренькое безбровое лицо Михея крылось фиолетовым румянцем, из-под треснувшего пополам козырька обильно сыпался пот.

Пантелей Прокофьевич распахнул ворота, и брички одна за другой въехали на баз.

С крыльца гусыней поплыла Ильинична, обметая подолом ошлепки навозной грязи, занесенной на порожки.

– Милости просим, дорогие сваточки! Сделайте честь нашему бедному куреню! – И она гнула дородный стан.

Пантелей Прокофьевич, кособоча голову, широко разводил руками:

– Покорнейше просим, сваточки! Проходите. – Он крикнул, чтоб отпрягли лошадей, и пошел к свату.

Мирон Григорьевич тер ладонью шаровары, счищая пыль. Поздоровавшись, пошли к крыльцу. Дед Гришака, растрясенный небывалой ездой, приотстал.

– Проходите, сваточек, проходите! – упрасивала Ильинична.

– Ничего, благодарствуем... пройдем.

– Заждались вас, проходите. Зараз веник дам, свату мундир почистить. Пыль ноне, ажник дыхнуть нечем.

– Так точно, сушь... Оттого и пыль. Не беспокойтесь, сваха, я вот толечко... – Дед Гришака, кланяясь недогадливой свахе, задом подвигался к сараю и скрылся за крашенным боком веялки.

– Привязалась к старику, дуреха! – накинулся Пантелей Прокофьевич, встречая Ильиничну у крыльца. – Он по своей стариковской надобности, а она... тьфу, господи, да и глупая!..

– Я-то почему знала? – смутилась Ильинична.

– Должна разуместь. Ну, нечего там. Иди проводи сваху.

За накрытыми столами нетрезвый гуд подвыпивших гостей. Сватов усадили в горнице за стол. Вскоре приехали из церкви молодые. Пантелей Прокофьевич, наливая из четверти, прослезился.

– Ну, сваточки, за наших детей. Чтоб оно все по-хорошему, как мы сходились... и чтоб они в счастье и здравии свою жизнь проживали...

Деду Гришаке налили пузатую рюмку и вылили половину в рот, залохматевший прозеленью бороды, половину за стоячий воротник мундира. Пили, чокаясь. Просто пили. Гомон ярмарочный. Сидевший на самом краю стола дальний родственник Коршуновых, старый атаманец Никифор Коловейдин, поднимая раскляченную руку, ревел:

– Горька!

– Го-о-рь-ко-а!.. – подхватывали за столом.

– Ох, горька!.. – отзывалась битком набитая кухня.

Хмурясь, Григорий целовал пресные губы жены, водил по сторонам затравленным взглядом.

Красные лица. Мутные во хмелю, похабные взгляды и улыбки. Рты, смачно жующие, роняющие на расшитые скатерти пьяную слюну. Гульба – одним словом.

Никифор Коловейдин щерил щербатую пасть, поднимал руку.

– Горька!..

На рукаве его голубого атаманского мундира морщились три золотые загогулины – нашивки за сверхсрочную службу.

– Го-орь-ка!..

Григорий с ненавистью вглядывался в щербатый рот Коловейдина. У того в порожнюю меж зубами скважину при слове «горько» трубочкой вылезал слизистый багровый язык.

– Целуйтесь, тетери-ятери... – шипел Петро, шевеля косичками намокших в водке усов.

В кухне Дарья, подпившая и румяная, завела песню. Подхватили. Перекинули в горницу.

Вот и речка, вот и мост,
Через речку перевоз...

Плелись голоса, и, обгоняя других, сотрясая стекла окон, грохотал Христоня:

А кто ба нам поднес,
Мы ба вы-пи-и-ли.

А в спальне сплошной бабий визг:

Потерял, растерял
Я свой голосочек...

И в помощь – чей-то старческий, дребезжащий, как обруч на бочке, мужской голосок:

Потерял, ух, растерял, ух,
Я свой голосочек.
Ой, по чужим садам летучи,
Горькую ягоду-калину клюючи.

– Гуляем, люди добрые!..

– Баранинки спробуй.

– Прими лапу-то... муж, вон он, глядит.

– Горь-ка-а-а!..

– Дружко развязный, ишь со свахой как обходится.

– Ну, не-е-ет, ты нас баранинкой не угощай... Я, может, стерлядь ем... И буду исть: она жир-на-я.

– Кум Прошка, давай стременную чекалдыкнем.

– Так по зебрам и пошел огонь...

– Семен Гордеевич!

– А?

– Семен Гордеевич!

– Да пошел ты!

В кухне закачался, выгибаясь, пол, затарахтели каблуки, упал стакан; звон его потонул в общем гуле. Григорий глянул через головы сидевших за столом в кухню: под уханье и взвизги топтались в круговой бабы. Трясли полными задами (худых не было, на каждой по пять – семь юбок), махали кружевными утирками, сучили в пляске локтями.

Требовательно резнула слух трехрядка. Гармонист заиграл казачка с басовыми переливами.

– Круг дайте! Круг!

– Потеснитесь, гостечки! – упрашивал Петро, толкая разопревшие от пляса бабы животы.

Григорий, оживившись, мигнул Наталье.

– Петро зараз казачка урежет, гляди.

– С кем это он?

– Не видишь? С матерью твоей.

Лукинична уперла руки в боки, в левой – утирка.

– Ходи, ну, а то я!..

Петро, мелко перебирая ногами, прошел до нее, сделал чудеснейшее коленце, вернулся к месту. Лукинична подобрала подол, будто собираясь через лужу шагать, – выбила дробь носком, пошла, под гул одобрения, выбрасывая ноги по-мужски.

Гармонист пустил на нижних ладах мельчайшей дробью, смыла эта дробь Петра с места, и, ухнув, ударился он впрыскаду, щелкая ладонями о голенища сапог, закусив углом рта кончик уса. Ноги его трепетали, выделявая неуловимую частуху коленец; на лбу, не успевая за ногами, метался мокрый от пота чуб.

Григорию загородили Петра спины столпившихся у дверей. Он слышал лишь текущий треск кованых каблуков, словно сосновая доска горела, да взвинчивающие крики пьяных гостей.

Под конец плясал Мирон Григорьевич с Ильиничной, плясал деловито и серьезно, – как и все, что он делал.

Пантелей Прокофьевич стоял на табуретке, мотал хромой ногой, чмокал языком. Вместо ног у него плясали губы, не находившие себе покоя, да серьга.

Бились в казачке и завзятые плясуны, и те, которые не умели ног согнуть по-настоящему.

Всем кричали:

– Не подгадь!

– Режь мельче! Ух ты!..

– Ноги легкие, а зад мешается.

– Сыпь, сыпь!

– Наш край побивает.

– Дай взвару, а то я.

– Запалился, стерва. Пляши, а то бутылкой!

Пьяненький дед Гришака обнимал ширококостную спину соседа по лавке, брунжал по-комариному ему в ухо:

– Какого года присяги?

Сосед его, каршеватый, вроде дуба-перестарка, старик, гудел, отмахиваясь рукой:

– Тридцать девятого, сынок.

– Какого? Ась? – Дед Гришака оттопыривал морщинистую раковину уха.

– Тридцать девятого, сказано тебе.

– Чей же будете? Из каких?

– Вахмистр Баклановского полка Максим Богатырев. Сам рожек с хутора... с хутора Красный Яр.

– Родствие Мелеховым?

– Как?

– Родствие, говорю?

– Ага, дедом довожусь.

– Полка-то Баклановского?

Старик потухшими глазами глядел на деда Гришаку, катая по голым деснам непрожеванный кусок, кивал головой.

– Значится, в кавказской кампании пребывали?

– С самим покойничком Баклановым, царство небесное, служил, Кавказ покоряли... В наш полк шел казак редкостный... Брали гвардейского росту, иначе сутулых... – какие длиннорукие и в плечах, тоже – нонешний казак поперек уляжется... Вот, сынок, какие народы были... Их превосходительство, покойник генерал, в ауле Челенджийском с одночась изволили меня плетью...

– А я в турецкой кампании побывал... Ась? Побывал, да. – Дед Гришака прямил ссохшуюся грудь, вызванивая Георгиями.

– Заняли мы этот аул на рассвете, а в полдни играет трубач тревогу...

– Довелось и нам царю белому послужить. Под Рошичем был бой, и наш полк, Двенадцатый Донской казачий, сразился с ихними янычирами...

– Играет это трубач тревогу... – продолжает баклановец, не слушая деда Гришаку.

– Янычиры ихние навроде атаманцев. Да-с. – Дед Гришака горячится, сердясь, машет рукой. – Службу при своем царе несут, и на головах у них белые мешки. Ась? Белые мешки на головах.

– Я и говорю своему полчанину: «Это, Тимоша, отступить будем, тяни ковер со стены, а мы его в торока...»

– Два Егория имею! Награжден за боевые геройства!.. Турецкого майора живьем запонил...

Дед Гришака плачет и стучит сухим кулачком по гулкой и медвежковой спине деда-баклановца; но тот, макая кусок курятины вместо хрена в вишневый кисель, безжизненно глядит на скатерть, залитую лапшой, шамшит провалившимся ртом:

– Вот, сынок, на какой грех попутал нечистый... – Глаза деда с мертвой настойчивостью глядят на белые морщины скатерти, словно видит он не скатерть, залитую водкой и лапшой, а снеговые слепящие складки Кавказских гор. – До этого сроду не брал чужого... бывало, зайдем черкесский аул, в саклях имение, а я не завидую... Чужое сиречь от нечистого... А тут поди ж ты... Влез в глаза ковер... с махрами... Вот, думаю, попона коню будет...

– Мы этих разных разностей повидали. Тоже бывали в заморских землях. – Дед Гришака пытается заглянуть соседу в глаза, но глубокие глазницы заросли, как буерак бурьяном, седыми ключьями бровей и бороды; не доберется дед Гришака до глаз, кругом одна щетинистая непролазь волос.

Он пускается на хитрость; он хочет привлечь внимание соседа ударным местом своего рассказа, а поэтому начинает без предварительной подготовки прямо с середины:

– И командует есаул Терсинцев: «Взводными колоннами намётом – арш-арш!»

Дед-баклановец, вскидывает голову, как строевой конь при звуке трубы; роняя на стол узловатый кулак, шепчет:

– Пики к бою, шашки вон, баклановцы!.. – Тут голос его внезапно крепчает, мерклые зрачки блестят и загораются былым, загашенным старостью огнем. – Баклановцы-молодцы!.. – ревет он, раскрывая пасть с желтыми нагими деснами. – В атаку... марш-марш!..

И осмысленно и молодо глядит на деда Гришаку и не утирает замызганным рукавом чекменя щекочущих подбородок слез.

Дед Гришака тоже оживляется.

– Подал он нам этакую команду и махнул палахом. Поскакали мы, а янычиры построились вот так-то, – он чертит на скатерти пальцем неровный четырехугольник, – в нас палят. Два раза мы на них ходили – собыют и собыют. Откель ни возьмись, с флангу из лесочка ихняя конница. Наш командир сотни дает команду. Завернули мы правым крылом, перестроились – и на них. Вдарили. Стоптали. Какая конница супротив казаков устоит? То-то и оно. Поскакали они к лесу, воют... Вижу я, скачет попереди меня ихний офицер на караковом коне. Молодец-кий такой офицер, черные усы книзу, оглядывается все на меня и пистолет из чехла вынает. А чехло к седлу приторочено... Стрельнул и не попал. Тут придавил я коня, догоняю его. Хотел срубить, а посла раздумал. Человек ить... Правой рукой обхватил его поперек, так он, извольте видеть, так из седла и вылетел. Руку мне искусал, а все ж таки взял я его...

Дед Гришака, торжествуя, глянул на соседа: тот, уронив на грудь огромную угловатую голову, уснул под шум, уютно всхрапывая.

Часть вторая

I

Сергей Платонович Мохов издалека ведет свою родословную.

В годы царствования Петра I шла однажды в Азов по Дону государева баржа с сухарями и огнестрельным зельем. Казаки «воровского» городка Чигонаки, угнездившегося в верховьях Дона, неподалеку от устья Хопра, ночью напали на эту баржу, стражу сонную перерезали, сухари и зелье разграбили, а баржу затопили.

По цареву приказу из Воронежа пришли войска, «воровской» тот городок Чигонаки сожгли, казаков, причастных к разбойному на баржу нападению, нещадно в бою разбили, а взятого в плен есаула Якирку и с ним сорок казаков перевешали на плавучих виселицах, и для устрашения низовых волновавшихся станиц были пущены качели те вниз по Дону.

Лет десять спустя на том месте, где раньше дымились курени Чигонацкой станицы, поселились пришедшие казаки и те, что уцелели от разгрома. Вновь выросла и опоясалась боевыми валами станица. С той-то поры и пришел в нее из Воронежского указа царев досмотрщик и глаз – мужик Мохов Никишка. Торговал он с рук разной, необходимой в казачьем обиходе рухлядью: черенками для ножей, табаком, кремнями; скупал и продавал краденое и два раза в год ездил в Воронеж, будто за товаром, а на самом деле доносил, что в станице пока-де спокойно и казаки нового злодейства не умышляют.

От этого-то Мохова Никишки и повелся купеческий род Моховых. Крепко поосели они на казачьей земле. Пообсеменились и выросли в станицу, как бурьян-копытник: рви – не вырвешь; свято блюли полуистлевшую грамоту, какой жаловал прадеда воронежский воевода, посылая в бунтовскую станицу. Может, сохранилась бы она и до наших времен, да в большом пожаре, еще при деде Сергея Платоновича, сгорела вместе с деревянной шкатулкой, хранившейся на божнице. Дед разорился, промотал все состояние, играя в карты; снова поднялся было на ноги, но пожар слизал все, и Сергею Платоновичу пришлось начинать сызнова. Похоронив параличного отца, он со щербатого рубля повел дело. Начал скупать по хуторам щетину и пух. Лет пять бедствовал, жулил и прижимал казаков окрестных хуторов на каждой копейке, а потом как-то сразу вырос из Сережки-шибая в Сергея Платоновича, открыл в станице галантерейную лавчушку, женился на дочке полусумасшедшего попа, взял немалое за ней приданое и открыл мануфактурный магазин. Вовремя начал Сергей Платонович мануфактурное дело. Из левобережных станиц, где бесплодна и жестка песчаная с каменным суглинком земля, на правую сторону Дона по распоряжению войскового правительства стали переселяться казаки целыми хуторами. Выросла и обросла постройками молодая Краснокутская станица; на рубеже с бывшими помещичьими землями, по рекам Чиру, Черной и Фроловке, над степными балками и логами, гранича с украинскими слободами, повылупились новые хутора. За товаром ездили верст за пятьдесят и больше, а тут вот она – лавка со свежими сосновыми полками, туго набитыми пахучим красным товаром. Широко, как трехрядную гармонь, развернул Сергей Платонович дело, помимо красного товара торговал всем, что надо в сельском немудром хозяйстве: кожевенный товар, соль, керосин, галантерея. В последнее время даже сельскохозяйственными машинами снабжал. С Аксайского завода косилки, сеялки-рядовки, плуги, веялки, сортировки чинным порядком стояли возле зеленостворчатой, прохладной в летнюю пору лавки. В чужом гаманце трудно деньгу считать, но, видно, немалую прибыль давала торговля смекалистому Сергею Платоновичу. Через три года открыл он хлебную ссыпку, а на другой год после смерти первой жены взялся за постройку паровой мельницы.

В смуглый кулачок, покрытый редким, глянцеви́то-черным волосом, крепко зажал он хутор Татарский и окрестные хутора. Что ни двор – то вексель у Сергея Платоновича: зелененькая с оранжевым позументом бумажка – за косилку, за набранную дочери справу (подошло время девку замуж отдавать, а на Парамоновской ссыпке прижимают с ценой на пшеницу, – «Дай в долг, Платонович!»), мало ли за что еще... На мельнице девять человек рабочих; в магазине семеро да дворовой челяди четверо – вот их двадцать ртов, что жуют по купеческой милости. От первой жены у него осталось двое детей: девочка Лиза и мальчик – на два года моложе ее, вялый, золотушный Владимир. Вторая жена – сухая, узконосая Анна Ивановна – оказалась бездетной. Вся запоздалая, невылитая материнская любовь и скопившаяся желчь (вышла она за Сергея Платоновича на закате тридцать четвертого года) вылились на оставшихся детишек. Нервный характер мачехи влиял не по-хорошему на воспитание детей, а отец уделял им внимания не больше, чем конюху Никите или кухарке. Дела и поездки съедали весь досуг: то в Москву, то в Нижний, то в Урюпинскую, то по станичным ярмаркам. Без догляда росли дети. Нечуткая Анна Ивановна не пыталась проникать в тайники детских душ, не до этого было за большим хозяйством, – оттого и выросли брат с сестрой чуждые друг другу, разные по характерам, не похожие на родных. Владимир рос замкнутым, вялым, с исподлобным взглядом и недетской серьезностью. Лиза, вращавшаяся в обществе горничной и кухарки, распутной, виды видавшей бабы, рано глянула на изнанку жизни. Женщины будили в ней нездоровое любопытство, и она – тогда еще угловатый и застенчивый подросток, – предоставленная самой себе, росла, как в лесу куст дикой волчьей ягоды.

Стекали неторопливые годы.

Старое, как водится, старилось; молодое росло зелеными.

И вот как-то за вечерним чаем несказанно удивился Сергей Платонович, глянув на дочь (Елизавета, к тому времени окончившая гимназию, успела выровняться в видную, недурную девушку); глянул, и блюдце с янтарным чаем запрыгало в руках: «На мать-покойницу похожа. Господи, вот сходство!» – Лизка, а ну, повернись! – Проглядел, что дочь с самого детства разительно напоминала мать.

...Владимир Мохов, гимназист пятого класса, узкий, болезненно-желтый паренек, шел по мельничному двору. Они с сестрой недавно приехали на летние каникулы, и Владимир, как всегда, с приездом пошел на мельницу посмотреть, потолкаться в толпе осыпанных мучной пылью людей, послушать равномерный гул вальцов, шестерен, шелест скользящих ремней. Ему льстил почтительный шепот завозчиков-казаков:

– Хозяйский наследник...

Осторожно обходя кучи бычачьего помета и подводы, рассыпанные по двору, Владимир дошел до калитки и вспомнил, что не был в машинном отделении. Вернулся.

Возле красной нефтяной цистерны, стоявшей около входа в машинное, вальцовщик Тимофей, весовщик, по прозвищу Валет, и помощник вальцовщика молодой белозубый парень Давыдка, засучив по колено штаны, месили большой круг глины.

– А-а-а, хозяин!.. – с насмешливым приветом обратился к нему Валет.

– Здравствуйте.

– Здравствуй, Владимир Сергеевич!

– Что это вы?..

– А вот глину месим, – с трудом выпрастывая ноги из вязкой, пахнущей навозом гуши, злобно усмехнулся Давыдка. – Папаша твой жалеет целковый – баб нанять, на нас ездит. Жила у тебя отец! – добавил он, с чавканьем переставляя ноги.

Владимир покраснел. Он чувствовал к вечно улыбающемуся Давыдке, к его пренебрежительному тону, даже к белым зубам непреодолимую неприязнь.

– Как – жила?

– Так. Скупой страшно. Из-под себя ест, – просто пояснил Давыдка и улыбнулся.

Валет и Тимофей одобрительно посмеивались. Владимир почувствовал укол обиды. Он холодно оглядел Давыдку.

– Ты, что же... значит, недоволен?

– Залезь-ка, помеси, а тогда узнаешь. Какой же дурак будет доволен? Папашку твоего сюда бы заправить, живот-то стрясло бы!

Раскачиваясь, Давыдка тяжело ходил по кругу, высоко задирали ноги и теперь уже беззлочно и весело улыбался. Предвкушая приятное удовлетворение, Владимир тасовал мысли. Нужный ответ нашелся.

– Хорошо, – с расстановкой сказал он, – я передам папе, что ты недоволен службой.

Он искоса взглянул на лицо Давыдки и поразился произведенным впечатлением: губы Давыдки жалко и принужденно улыбаются, лица других нахмурились. С минуту все трое молча месили крутевшую глину. Давыдка наконец оторвал от своих грязных ног глаза и заискивающе-злочно сказал:

– Я ить пошутил, Володя... Ну, шутейно сказал...

– Я передам папе, что ты говорил.

Чувствуя на глазах слезы обиды и за себя, и за отца, и за Давыдкину жалкую улыбку, Владимир прошел мимо цистерны.

– Володя!.. Владимир Сергеевич!.. – испуганно крикнул Давыдка и вылез из глины, опуская штаны прямо на измазанные по колено ноги.

Владимир остановился. Давыдка подбежал к нему, тяжело дыша:

– Не говорите папаше. Нарочно сказано было... Уж простите меня, дурака... Ей-богу, без умысла!.. Нарочно...

– Ладно. Не скажу!.. – морщась, выкрикнул Владимир и пошел к калитке.

Жалость к Давыдке взяла верх. С чувством облегчения он зашагал около белого частокола. Из кузни, примостившейся в углу мельничного двора, слышался игривый перестук молотка: раз по железу – глухой и мягкий, два раза – с подскоком – по звенящей наковальне.

– На что трогал? – донесся до слуха уходившего Владимира приглушенный бас Валета. – Не тронь, оно вонять не будет.

«Ишь сволочь, – озлобясь, подумал Владимир, – выражается... Сказать или не сказать?»

Оглянувшись, увидел прежнюю белозубую Давыдкину улыбку и твердо решил: «Скажу!»

На площади возле магазина стояла привязанная к столбу, запряженная в арбу лошадь. С крыши пожарного сарая ребятишки гоняли серую свиристящую тучу воробьев. С террасы гремел звучный баритон студента Боярышкина и еще чей-то голос – надтреснутый, сиповатый.

Владимир взошел на крыльцо, над ним заколыхалась листва дикого винограда, буйно заплетавшая крыльцо и террасу, висевшая с голубой резьбы карниза зелеными пенистыми шапками.

Боярышкин качал бритой фиолетовой головой, говорил, обращаясь к сидевшему около него молодому, но бородатому учителю Баланде:

– Читаю его и, несмотря на то что я сын казака-хлебороба и ко всем привилегированным классам питаю вполне естественную злобу, – тут, представьте, я до чертиков жалею это отмирающее сословие. Я сам чуть не становлюсь дворянином и помещиком, с восторгом всматриваюсь в их идеал женщины, болею за их интересы, – словом, черт знает что! Вот, дорогой, что значит гений! Можно и веру переменить.

Баланда мямлил кисть шелкового пояса и, иронически улыбаясь, рассматривал на подоле своей рубахи красные, вышитые гарусом узоры. Лиза, развалившись, сидела в кресле. Разговор ее, видимо, нимало не интересовал. Она всегдашними, что-то потерявшими и чего-то ищущими глазами скучливо глядела на фиолетовую, в царапинах, голову Боярышкина.

Поклонившись, Владимир прошел мимо, постучался к отцу в кабинет. Сергей Платонович на прохладной кожаной кушетке перелистывал июньскую книжку «Русского богатства». На полу валялся пожелтевший костяной нож.

– Тебе что?

Владимир вобрал голову в плечи, нервно оправил на себе рубашку.

– Я шел с мельницы... – начал он нерешительно, но вспомнил слепящую Давыдкину усмешку и, глядя на круглый отцовский живот, обтянутый чесучовой жилеткой, уже решительно продолжал: — ...и слышал, как Давыдка говорил...

Сергей Платонович выслушал внимательно, сказал:

– Уволим. Иди. – И, кряхтя, нагнулся за ножом.

По вечерам у Сергея Платоновича собиралась хуторская интеллигенция: Боярышкин – студент Московского технического училища; тощий, снедаемый огромным самолюбием и туберкулезом учитель Баланда; его сожительница – учительница Марфа Герасимовна – девушка нестареющая и круглая, с постоянно неприлично выглядывающей нижней юбкой; почтмейстер – чудаковатый, заплесневелый, с запахом сургуча и дешевых духов холостяк. Изредка наезжал из своего имения гостивший у отца – помещика и дворянина – молодой сотник Евгений Листницкий. По вечерам пили на террасе чай, тянули ничемные разговоры, и, когда обрывались вялые разговорные нити, кто-либо из гостей заводил дорогой, в инкрустациях хозяйский граммофон.

Изредка, в большие праздники, любил Сергей Платонович пустить пыль в глаза: созывал гостей и угощал дорогими винами, свежей осетровой икрой, ради этого случая выписанной из Батайска, лучшими закусками. В остальное время жил узко. Единственное, в чем не отказывал себе, – это в книгах. Любил Сергей Платонович читать и до всего доходить собственным цепким, как повитель, умом.

Компаньон его, белокурый, с острой бородкой и потаенными щелками глаз, Емельян Константинович Атепин, заходил редко. Был он женат на бывшей усть-медведицкой монашке, наплодил с ней за пятнадцать лет супружеской жизни восьмерых детей и большую часть времени проводил дома. Из полковых писарей вылез Емельян Константинович в люди, оттуда же принес в семью затхлый душок подхалимства, заискивания. Дети в его присутствии ходили на цыпочках, говорили шепотом. Каждое утро, умывшись, выстраивались в столовой в ряд, под черным висячим гробом громадных стенных часов, мать стояла позади, и едва из спальни долетало сухое покашливание отца, начинали разноголосо и фальшиво: «Спаси, господи, люди твоя», потом «Отче наш».

Емельян Константинович успевал одеться к концу молитвы, выходил, шуря щелки капустных глаз, по-архиерейски вытягивал мясистую голую руку. Дети подходили поочередно и целовали. Емельян Константинович целовал жену в щеку, говорил, нетвердо выговаривая букву «ч»:

– Полицка, заварила цаек?

– Заварила, Емельян Константинович.

– Налей покрепце.

Магазинную бухгалтерию вел он. Пятнил страницы под жирными заголовками «дебет» – «кредит» писарским, в кудряшках, почерком. Читал «Биржевые ведомости», без нужды ущемляя шишकाстый нос в золотое пенсне. Со служащими обращался вежливо.

– Иван Петрович, отпустите человеку таврицанского ситнику.

Жена звала его Емельяном Константиновичем, дети – папачкой, а приказчики магазина – Цацой.

Два священника – отец Виссарион и благочинный отец Панкратий – дружбы с Сергеем Платоновичем не вели, были у них давнишние счеты. Между собой и то жили неладно. Строптивый кляузник отец Панкратий умело гадил ближним, а вдовый, живший с украинкой-эко-

номкой отец Виссарион, от сифилиса гундосый, от природы приветливый, сторонился и не любил благочинного за непомерную гордыню и кляузный характер.

Все, кроме учителя Баланды, имели в хуторе собственные дома. На площади красовался ошелеванный пластинами, крашеный в синее домище Мохова. Против него на самой пуповине площади раскорячился магазин со сквозными дверями и слинявшей вывеской:

«ТОРГОВЫЙ ДОМ МОХОВ С. П. И АТЕПИН Е. К.»

К магазину примыкал низкорослый, длинный, с подвалом, сарай, сажень в двадцати от него – кирпичный перстень церковной ограды и церковь с куполом, похожим на вызревшую зеленую луковицу. По ту сторону церкви – выбеленные, казенно-строгие стены школы и два нарядных дома: голубой, с таким же палисадником – отца Панкратия, и коричневый (чтобы не похож был), с резным забором и широким балконом – отца Виссариона. С угла на угол двухэтажный, несуразно тонкий домик Атепина, за ним почта, соломенные и железные крыши казачьих куреней, покатая спина мельницы с жестяными ржавыми петухами на крыше.

Жили, закрывшись от всего синего мира наружными и внутренними, на болтах, ставнями. С вечера, если не шли в гости, зачеховывали болты, спускали с привязи цепных собак, и по немому хутору тархтела лишь деревянным языком стукотушка ночного сторожа.

II

В конце августа Митька Коршунов случайно встретился возле Дона с дочерью Сергея Платоновича Елизаветой. Он только что приехал из-за Дона и, примыкая к коряге баркас, увидел крашеную легонькую лодку, легко бороздившую течение. Лодка шла из-под горы, направляясь к пристани, на веслах сидел Боярышкин. Голая голова его блестела потом, на лбу и висках вздулись веточки жил.

Митька не сразу узнал Елизавету. На глаза ее падала от соломенной шляпы сизая тень. Загорелыми руками прижимала к груди ворох желтых водяных кувшинок.

– Коршунов! – Она закивала головой, увидев Митьку. – Обманул меня?

– Как так обманул?

– А помнишь, обещался ехать со мной рыбалить?

Боярышкин бросил весла и разогнул спину. Лодка с разлета вылезла носом на землю, с хрустом дробя прибрежный мел.

– Помнишь? – смеялась Лиза, выскакивая из лодки.

– Некогда было. Работа, – оправдывался Митька и с перехваченным дыханием следил за подходящей к нему девушкой.

– Нет! Это невозможно!.. Я, Елизавета Сергеевна, отказываюсь. Вот вам хомут и дуга, а я вам больше не слуга! Подумайте, сколько исколесили по этой проклятой воде. У меня кровавые мозоли от весел. То ли дело материк.

Боярышкин твердо ступил на колючую крошку мела длинной босой ступней, вытер лоб верхом измятой студенческой фуражки. Не отвечая ему, Лиза подошла к Митьке. Тот неумело пожал протянутую ему руку.

– Когда же поедем рыбалить? – спросила, запрокидывая голову, щуя глаза.

– Хучь завтра. Обмолотились, теперича можно.

– Обманешь?

– Ну, нет!

– Рано зайдешь?

– До света.

– Буду ждать.

– Приду, ей-богу, приду!

– Не забыл, в какое окно стучать?

– Найду, – улыбнулся Митька.

– Я, наверное, скоро уеду. Хотелось бы порыбалить.

Митька молча вертел в руке заржавленный ключ от баркаса и смотрел ей в губы.

– Скоро? – спросил Боярышкин, рассматривая на ладони узорную ракушку.

– Сейчас поедем.

Она помолчала и, чему-то улыбаясь, спросила:

– Ведь у вас какая-то свадьба была?

– Сестру выдавали.

– За кого же это? – И, не дожидаясь ответа, улыбнулась непонятно и коротко. – Приходи же! – Снова, как тогда, в первый раз, на террасе моховского дома, улыбка жиганула Митьку крапивным укусом.

Он проводил девушку глазами до лодки. Боярышкин, раскорячившись, сталкивал лодку; Лиза с улыбкой смотрела через его голову на Митьку, игравшего ключом, кивала ему головой.

Отъехав саженей пять, Боярышкин спросил тихо:

– Что это за молодчик?

– Знакомый.

– Друг сердца?

Митька, слышавший их разговор, за скрипом уключин не расслышал ответа. Он видел, как Боярышкин, налегая на весла, откидываясь, засмеялся, но ее лица не видел: она сидела к нему спиной. Сиреневая лента стекала со шляпы на оголенный покат плеча, дрожала от бес- сильного ветра, таяла, дразнила Митькин затуманенный взгляд.

Митька, редко ходивший рыбалить удочками, никогда не собирался с таким рвением, как в этот вечер. Он наколот кизяков и сварил в огороде пшенную кашу, наскоро перевязал отопревшие завязки крючков.

Михей, глядя на его приготовления, попросил:

– Возьми меня, Митрий. Одному неспособно.

– Управлюсь и один. Михей вздохнул.

– Давно мы с тобой не ездили. Теперя подержал бы сазаника эдак в полпуда бы.

Митька, морщась от пара, бывшего из чугуна с кашей горячим столбом, промолчал. Окончив сборы, пошел в горенку.

Дед Гришака сидел у окна; оседлав нос круглыми в медной оправе очками, читал Еван- гелие.

– Дедушка! – окликнул Митька, подпирая плечом притолоку.

Дед Гришака лупнул глазами вверх очков.

– Ась?

– Разбуди меня после первых кочетов.

– Куда в такую спозаранку?

– Рыбалить.

Дед, любивший рыбу, для видимости запротивился:

– Отец говорил – конопи молотить завтра. Нечего баглайничать. Ишь рыбалка!

Митька оттолкнулся от притолоки, схитрил:

– Мне все одно. Хотел бы рыбкой покормить деда, а раз конопи – значит, не пойду.

– погоди, куда ж ты? – испугался дед Гришака, стаскивая очки. – Я погутаю с Мироном, пойти уж, что ли. Рыбки посолонцевать неплохо, завтра вокат середя. Разбужу, иди, иди, дурак! Чему скалишься-то?

В полночь дед Гришака, придерживая одной рукой холстинные портки, другой, держав- шей костыль, щупая дорогу, спустился по порожкам. Проплыл по двору до амбара белой тря- сучей тенью и концом костыля ткнул сопевшего на полсти Митьку. В амбаре пахло свежеебмо-

лоченным хлебом, мышинным пометом и кислым, застоявшимся, паутинным запахом нежилого помещения.

Митька спал у закрома, на полсти. Раскачался не скоро. Дед Гришака сначала легонько толкал его костылем, шептал:

– Митюшка! Митька!.. Эко, поганец, Митька!

Митька густо сопел, поджимал ноги. Ожесточившись, дед воткнул тупой конец костыля ему в живот, начал сверлить, как буравом. Охнув, Митька схватил костыль и проснулся.

– Сон дурачий! Ить это беда, как спишь! – ругался дед.

– Молчи, молчи, не гуди, – пришептывал Митька спросонок, шаря по полу чирики.

Он дошел до площади. По хутору заголосили вторые петухи. Шел по улице, мимо дома попа Виссариона, слышал, как в курятнике, хлопая крыльями, протодьяконским басом взревел петух и испуганным шепотом заквохтала куры.

На нижней ступеньке магазина дремал сторож, воткнувшись носом в овчинное тепло воротника. Митька подошел к моховскому забору, сложил удочки и кошелку с припасом, – легонько ступая, чтобы не услышали собаки, взошел на крыльцо. Потянул дверную холодную ручку – заперто. Перелез через перила, подошел к окну. Створки полуприкрыты. Из черной скважины сладко пахнет девичьим, теплым во сне телом и неведомым сладким запахом духов.

– Лизавета Сергеевна!

Митьке показалось, что он сказал очень громко. Выждал. Тишина. «А ну, как ошибся окном? Что, ежели сам спит? Вот врываюсь!.. Положит из ружья», – думал Митька, сжимая оконную ручку.

– Лизавета Сергеевна, вставай рыбалить.

«Ежели ошибся окном – вот рыбальство будет!..»

– Вставай, что ли! – раздосадованно сказал он и просунул голову в комнату.

– А? Кто? – испуганно и тихо откликнулись из черноты.

– Рыбалить пойдешь? Это я, Коршунов.

– А-а-а, сейчас.

В комнате зашуршало. Сонный теплый голос, казалось, пахнул мятой. Митька видел что-то белое, шелестящее, двигавшееся по комнате.

«Эх, сладко бы с ней позоровать... А то рыбалить... Сиди там, коченей...» – неясно думал он, вдыхая запах спальни.

В окне показалось смеющееся лицо, повязанное белой косынкой.

– Я через окно. Дай мне руку.

– Лезь. – Митька помог.

Опираясь на его руку, она близко взглянула ему в глаза:

– Скоро я?

– Ничего. Успеем.

Пошли к Дону. Она терла розовой ладонью слегка припухшие глаза, говорила:

– Сладко я спала. Надо бы еще поспать. Рано уж очень идем.

– Как раз будет.

Спустились к Дону по первому от площади проулку. За ночь откуда-то прибыла вода, и баркас, примкнутый к лежавшей вчера на сухом коряге, качался, окруженный водой.

– Разуваться надо, – вздохнула Лиза, меряя глазами расстояние до баркаса.

– Давай перенесу? – предложил Митька.

– Неудобно... я лучше разуюсь.

– Удобнее будет.

– Не надо, – замялась в смущении.

Митька левой рукой обнял ее ноги повыше колен и, легко приподняв, зашлепал по воде к баркасу. Она невольно обхватила смуглый твердый столб его шеи, засмеялась воркующе и тихо.

Если б не споткнулся Митька о камень, на котором хуторские бабы шлепали вальками белье, не было бы нечаянного короткого поцелуя. Ахнув, она прижалась к растрескавшимся Митькиным губам, и Митька стал в двух шагах от серой стенки баркаса. Вода заливалась ему в чирики, холодила ноги.

Отмокнув баркас, он с силой толкнул его от коряги, вскочил на ходу. Огребался коротким веслом, стоя. За кормой журчилась, плакала вода. Баркас приподнятым носом мягко резал стремя, направляясь к противоположному берегу. Дребезжали, подпрыгивая, удилища.

– Куда ты правишь? – спросила, оглядываясь назад.

– На энтот бок.

У песчаного обрыва баркас пристал. Не спрашиваясь, Митька поднял ее на руки и понес в кусты прибрежного боярышника. Она кусала ему лицо, царапалась, раза два придушенно вскрикнула и, чувствуя, что обессиливает, заплакала зло, без слез...

Возвращались часов в девять. Небо кутала желторудая мгла. Плясал по Дону ветер, гриватил волны. Плясал, перелезая через поперечные волны, баркас, и пенистые студёные брызги поднятой с глубин воды обдавали выпитое бледностью лицо Елизаветы, стекали и висли на ресницах и прядях выбившихся из-под косынки волос.

Она устало щурила опустошенные глаза, ломала в пальцах стебелек занесенного в баркас цветка. Митька греб, не глядя на нее, под ногами его валялись небольшой сазан и чебак, с застывшим в смертной судороге ртом и вылупленным, в оранжевом ободке, глазом. На лице Митьки блудила виноватость, довольство скрещивалось с тревогой...

– Я повезу тебя к Семеновой пристани. Оттель тебе ближе, – сказал, поворачивая баркас по течению.

– Хорошо, – шепотом согласилась она.

На берегу безлюдно, припудренные меловой пылью огородные плетни над Доном изнывали, опаленные горячим ветром, поили воздух запахом прижженного хвороста. Тяжелые, обклеванные воробьями шляпки подсолнухов, вызрев до предела, никли к земле, роняли опущенные семечки. Займище изумрудилось наращенной молодой отавой. Вдали взбрыкивали жеребят, и тягучий смех балабонов, привешенных к их шеям, несло к Дону южным горячим ветром.

Митька поднял рыбу, протянул выходявшей из баркаса Елизавете.

– Возьми улов-то. На!

Она испуганно взмахнула ресницами, взяла.

– Ну, я пойду.

– Что ж.

Пошла, держа в откинутой руке нанизанную на таловую хворостинку рыбу, жалкая, растерявшая в боярышнике недавнюю самоуверенность и веселость.

– Лизавета!

Она повернулась, тая в изломе бровей досаду и недоумение.

– Вернись-ка на-час.

И когда подошла поближе, сказал, досаду на свое смущение:

– Недоглядели мы с тобой... Эх, юбка-то сзади... пятнышко... махонькое оно...

Она вспыхнула и залилась краской до ключиц.

Митька, помолчав, посоветовал:

– Иди задами.

– Все равно через площадь надо идти. Хотела ведь черную юбку надеть, – прошептала, с тоской и неожиданной ненавистью озирая Митькино лицо.

– Дай листком обзеленю? – просто предложил Митька и удивился выступившим на глазах ее слезам...

...Ветровым шелестом-перешепотом поползла по хутору новость: «Митька Коршунов Сергея Платоновича дочку обгулял!» Гутарили бабы на прогоне зарей, когда прогоняли табун коров, под узенькой, плавающей в серой пыли тенью колодезного журавля, проливая из ведер воду, у Дона на плитняках самородного камня, выколачивая простиранные лохунишки.

– То-то оно без родной матушки.

– Самому-то дохнуть некогда, а мачеха скрозь пальцев поглядывает...

– Надысь сторож Давыдка Беспалый рассказывал: «Гляжу в полночь, а в крайнюю окно гребется человек. Ну, думаю, вор к Платоновичу. Подбегаю, стал быть. – Кто такое есть? Полицевский, сюда! – А это, стал быть, он и есть, Митька».

– Девки ноне, хвятина им в дыхало, пошли...

– Митька мому Микишке расписывал: «Дескать, сватать буду».

– Нехай хоть трошки сопли утрет!

– Приневолил ее, гутарили надысь, ссильничал...

– И-и-и, кума!..

Текли по улицам и проулкам слухи, мазали прежде чистое имя девушки, как свежие ворота густым дегтем...

Пала молва на лысеющую голову Сергея Платоновича и придавила к земле. Двое суток не выходил ни в магазин, ни на мельницу. Прислуга, жившая на низах, появлялась только перед обедом.

На третий день заложили Сергею Платоновичу в беговые дрожки серого в яблоках жеребца, укатил в станицу, важно и недоступно кивая головой встречавшимся казакам. А следом за ним прошуршала из двора блестящая лаком венская коляска. Кучер Емельян, слюнявя прикипевшую к седеющей бородачке гнутую трубочку, разобрал синее шелковое вожжей, и пара вороных, играючись, защелкала по улице. За кручей Емельяновой спины виднелась бледная Елизавета. Легонький чемоданчик держала в руках и невесело улыбалась; махала перчаткой стоявшим у ворот Владимиру и мачехе. Хромавший из лавки Пантелей Прокофьевич поинтересовался, обращаясь к дворовому Никите:

– Куда же отправилась наследница-то?

И тот, снисходя к простой человеческой слабости, ответил:

– В Москву, на учение, курсы проходить.

На другой день случилось событие, рассказ о котором долго пережевывали и у Дона, и под тенью колодезных журавлей, и на прогоне... Перед сумерками (из степи пропылил уже табун) пришел к Сергею Платоновичу Митька (нарочно припозднился, чтоб не видели люди). Не просто так-таки пришел, а сватать дочь его Елизавету.

До этого виделся он с ней раза четыре, не больше. В последнюю встречу между ними происходил такой разговор:

– Выходи за меня замуж, Лизавета, а?

– Глупость!

– Жалеть буду, кохать буду... Работать у нас есть кому, будешь у окна сидеть, книжки читать.

– Дурак ты.

Митька обиделся и замолчал. Ушел в этот вечер домой рано, а утром заявил изумленному Мирону Григорьевичу:

– Батя, жени.

– Окстись.

- На самом деле, не шутейно говорю.
- Приспичило?
- Чего уж там...
- Какая ж прищемила, не Марфушка-дурочка?
- Засылай сватов к Сергею Платоновичу.

Мирон Григорьевич аккуратно разложил на лавке чеботарный инструмент (чинил он шлеи), хахакнул:

- Ты, сынок, ноне веселый, вижу.

Митька уперся в свое, как бугай в стену; отец вспылил:

– Дурак! У Сергея Платоновича капиталу более ста тысячев; купец, а ты?.. Иди-ка отсель, не придуривайся, а то вот шлей потяну жениха этого!

- У нас четырнадцать пар быков, именье вон какое, опять же он мужик, а мы казаки.

- Ступай! – коротко приказал Мирон Григорьевич, не любивший долгих разговоров.

Митька встретил сочувствие лишь у деда Гришаки. Тот приковылял к сыну, цокая костылем по полу.

- Мирон!

- Ну?

- Что супротивничаешь? Раз парню пришла как раз...

- Батя, вы – чистое дитё, истинный бог! Уж Митрий глупой, а вы на диковину...

– Цыц! – пристукнул дед Гришака. – Аль мы им не ровня? Он за честь должен принять, что за его дочерю сын казака сватается. Отдаст с руками и с потрохами. Мы люди по всему округу звестные. Не голутьва, а хозяева!.. Да-с!.. Поезжай, Мирошка, нечего там! В приданое мельницу нехай дает. Проси!

Мирон Григорьевич запыхтел и ушел на баз, а Митька порешил дожждаться вечера и идти самому – знал: отцово упрямство что вяз на корню: гнуться – гнется, а сломить и не пробуй.

Дошел до парадного, посвистывая, а тут оробел. Потоптался и пошел через двор. На крыльце спросил у горничной, гремевшей накрахмаленным фартуком:

- Сам дома?

- Чай пьют. Подожди.

Сел, подождал, выкурил сигарку и, послунявив пальцы, затушил, а окурочку густо размазал по полу. Сергей Платонович вышел, обметая с жилета крошки сухаря; увидел – и сдвинул брови.

- Пройдите.

Митька первый вошел в прохладный, пахнувший книгами и табаком кабинет, почувствовал, что той смелости, которой зарядился из дому, хватило как раз до порога кабинета.

Сергей Платонович подошел к столу, крутнулся на пискнувших каблучках.

- Ну? – Пальцы за его спиной царапали доску письменного стола.

– Пришел узнать... – Митька нырнул в холодную слизь буравивших его глаз и зябко передернул плечами, – может, отдадите Лизавету?

Отчаяние, злоба, трусость выдавили на растерянном Митькином лице пот, скупой, как росная сырость в засуху.

У Сергея Платоновича дрожала левая бровь и топырилась, выворачивая бордовую изнанку, верхняя губа. Вытягивая шею, он весь клонился вперед.

- Что?.. Что-о-о?.. Мерзавец!.. Пошел!.. К атаману тебя! Ах ты сукин сын! Пас-ку-да!..

Митька, осмелев от чужого крика, следил за приливом сизой крови, напивавшей на щеки Сергея Платоновича.

- Не примите в обиду... Думал вину свою покрыть.

Сергей Платонович закатил набухшие от крови и слез глаза и жмякнул под ноги Митьке чугунную массивную пепельницу. Она рикошетом ударила Митьку в чашечку левой ноги, но

он стойко выдержал боль и, рывком распахнув дверь, выкрикивал, скалясь, наглея от обиды и боли:

– Воля ваша, Сергей Платонович, как хотите, а я от души... Кому она такая-то нужна? Вот и думалось славу прикрыть... А то ить надкушенный кусок кому нужен? Собака и то не исть.

Сергей Платонович, прикладывая к губам скомканный платок, шел за Митькой по пятам. Он загородил дорогу через парадный ход, и Митька сбежал во двор. Тут-то Сергей Платонович только глазом мигнул торчавшему во дворе Емельяну-кучеру. Пока Митька возился с тугим засовом у калитки, вырвались из-за угла сарая четыре выпущенные собаки и, завидя чужого, распластались в беге по чисто выметенному двору.

Из Нижнего с ярмарки привез Сергей Платонович в 1910 году пару щенят – суку и кобелька. Были они черны, курчавы, зевлороты. Через год вымахали с годовалого телка ростом, сначала рвали на бабах, ходивших мимо моховского двора, юбки, потом научились валить баб на землю и кусать им ляжки, и только тогда, когда загрызли до смерти телку отца Панкратия да пару атепинских кабанков-зимнухов, Сергей Платонович приказал посадить их на цепь. Спустили собак по ночам да раз в год, весною, на случку.

Митька не успел повернуться лицом, как передний, по кличке Баян, кинул ему лапы на плечи и сомкнул пасть, увязив зубы в ватном сюртуке. Рвали, тянули, клубились черным комом. Митька отбивался руками, стараясь не упасть. Мельком видел, как Емельян, развеивая из трубки искры, промелся в кухню, хлопнул крашеной дверью.

На углу крыльца, прислонясь спиной к водосточной трубе, стоял Сергей Платонович, сучил беленькие кулачки, поросшие глянцевитым жестким волосом. Качаясь, выдернул Митька засов и на окровавленных ногах выволол за собой рычащий, жарко воняющий псиной собачий клубище. Баяну он изломал горло – задушил, а от остальных с трудом отбили его проходившие мимо казаки.

III

Наталя пришла Мелеховым ко двору. Мирон Григорьевич детей школил; не глядя на свое богатство и на то, что помимо них были работники, заставлял работать, приучал к делу. Работящая Наталя вошла свекрам в душу. Ильинична, скрыто недолюбливавшая старшую сноху – нарядницу Дарью, привязалась к Наталье с первых же дней.

– Поспись, поспись, моя чадунюшка! Чего вскочила? – ласково бубнила она, переставляя по кухне дородные ноги. – Иди, позоруй, без тебя управимся.

Наталя, встававшая с зарей, чтоб помочь в стряпне, уходила в горницу досыпать.

Строгий на дому Пантелей Прокофьевич и то говаривал жене:

– Слышь, баба, Наташку не буди. Она и так днем мотает. Собираются с Гришкой пахать. Дарью, Дарью стегай. С ленцом баба, спорченная... Румянится да брови чернит, мать ее суку.

– Нехай хучь первый годок покохается, – вздыхала Ильинична, вспоминая свою горбатую в работе жизнь.

Григорий малость пообвык в новом своем, женатом положении, пообтерхался и недели через три со страхом и озлоблением осознал в душе, что не вконец порвано с Аксиньей, осталось что-то, как заноза в сердце. И с этой болью ему не скоро расстаться. Крепко приросло то, на что он в жениховском озорстве играючи рукой помахивал, – дескать, загоится, забудется... А оно вот и не забылось и кровоточит при воспоминаниях. Еще перед женитьбой, как-то на току во время молотбы, спросил Петро:

– Гришка, а как же с Аксюткой?

– А что?

– Небось, жалко кидать?

– Я кину – кто-нибудь подымет, – смеялся тогда Гришка.

– Ну, гляди. – И Петро жевал изжеванный ус. – А то женишься, да не в пору...

– Тело заплывчиво, а дело забывчиво, – отшутился Гришка. А оно не так сложилось, и по ночам, по обязанности лаская жену, горяча ее молодой своей любовной ретивостью, встречал Гришка с ее стороны холодок, смущенную покорность. Была Наталья до мужниных утех неохоча, при рождении наделила ее мать равнодушной, медлительной кровью, и Григорий, вспоминая иступленную в любви Аксиныю, вздыхал:

– Тебя, Наталья, отец, должно, на крыге зачинал... Дюже леденистая ты.

А Аксиныя при встречах смутно улыбалась, темнея зрачками, роняла вязкую тину слов:

– Здорово, Гришенька! Как живешь-любишься с молодой женушкой?

– Живем... – отделивался Григорий неопределенным ответом и норовил поскорее уйти от ласкового Аксиныного взгляда.

Степан, как видно, примирился с женой. Реже стал бывать в кабаке и на гумне однажды вечером, вея хлеб, в первый раз за время разлада предложил:

– Давай, Ксюша, заиграем песню?

Присели, прислонясь к вороху обмолоченной пыльной пшеницы. Степан завел служивскую. Аксиныя грудным полным голосом дишканила. Складно играли, как в первые годы замужней жизни. Тогда, бывало, едут с поля, прикрытые малиновой полою вечерней зари, и Степан, покачиваясь на возу, тянет старинную песню, тягуче тоскливую, как одичавший в безлюдье, заросший подорожником степной шлях. Аксиныя, уложив голову на выпуклые полукружья мужниной груди, вторит. Кони тянут скрипучую мажару, качают дышло. Хуторские старики издалека следят за песней:

– Голосистая жена Степану попала.

– Ишь ведут... складно!

– У Степки ж и голосина, чисто колокол!

И деды, провожавшие с завалинок пыльный багрянец заката, переговаривались через улицу:

– Низовскую играют.

– Этую, полчок, в Грузии сложили.

– То-то ее покойник Кирюшка любил!

Григорий по вечерам слышал, как Астаховы играли песни. На молотье (ток их соседил со Степановым током) видел Аксиныю, по-прежнему уверенную, будто счастливую. Так, по крайней мере, казалось ему.

Степан с Мелеховыми не здоровался. Похаживал с вилами по гумну, шевелил в работе широкими вислыми плечами, изредка кидал жене шутливое словцо, и Аксиныя смеялась, играя из-под платка черными глазами. Зеленая юбка ее зыбилась перед закрытыми глазами Григория. Шею его крутила неведомая сила, поворачивая голову в сторону Степанова гумна. Он не замечал, как Наталья, помогая Пантелею Прокофьевичу настилать посад снопов, перехватывала каждый невольный взгляд мужа своим тоскующим, ревнивым взглядом; не видел того, как Петро, гонявший по кругу лошадей, взглядывая на него, курносил лицо неприметной, про себя, ухмылкой.

Под глухой перегуд – стон распятой под каменными катками земли – думал Гришка неясные думки, пытался и не мог поймать увиливавшие от сознания скользкие шматочки мыслей.

С ближних и дальних гумен ползли и таяли в займище звуки молотьи, крики погоней, высвист кнутов, татаканье веялочных барабанов. Хутор, заживевший от урожая, млея под сентябрьским прохладным сугревом, протянувшись над Доном, как бисерная змея поперек дороги. В каждом дворе, обнесенном плетнями, под крышей каждого куреня коловертю кружилась своя, обособленная от остальных, горько-сладкая жизнь: дед Гришака, простыв, страдал зубами; Сергей Платонович, перетирая в ладонях раздвоенную бороду, наедине с собой

плакал и скрипел зубами, раздавленный позором; Степан вынынчивал в душе ненависть к Гришке и по ночам во сне скреб железными пальцами лоскутное одеяло; Наталья, убегая в сарай, падала на кизяки, тряслась, сжимаясь в комок, оплакивая заплеванное свое счастье; Христоню, пропившего на ярмарке телушку, мучила совесть; томимый ненасытным предчувствием и вернувшейся болью, вздыхал Гришка; Аксинья, лаская мужа, слезами заливала негаснущую к нему ненависть.

Уволенный с мельницы Давыдка-валыцовщик целыми ночами просиживал у Валета в саманной завозчицкой, и тот, посверкивая злыми глазами, говорил:

– Не-е-ет, ша-ли-ишь! Им скоро жилы перережут! На них одной революции мало. Будет им тысяча девятьсот пятый год, тогда поквитаемся! По-кви-та-ем-ся!.. – Он грозил рубцеватым пальцем и плечами поправлял накиннутый внапашку пиджак.

А над хутором шли дни, сплетаясь с ночами, текли недели, ползли месяцы, дул ветер, на погоду гудела гора, и, застекленный осенней прозрачно-зеленой лазурью, равнодушно шел к морю Дон.

IV

В конце октября, в воскресенье, поехал Федот Бодовсков в станицу.

В кошелке отвез на базар четыре пары кормленных уток, продал; в лавке купил жене ситцу в цветочных загогулинах и совсем собрался уезжать (упираясь в обод ногой, затягивал супонь), – в этот момент подошел к нему человек, чужой, не станичный.

– Здравствуй! – приветствовал он Федота, касаясь смуглыми пальцами полей черной шляпы.

– Здравствуй! – выжидательно процедил Федот, прищурия калмыцкие глаза.

– Вы откуда?

– С хутора, не тутешний.

– А с какого будете хутора?

– С Татарского.

Чужой человек достал из бокового кармана серебряный, с лодочкой на крышке, портсигар; угощая Федота папирской, продолжал расспросы:

– Большой ваш хутор?

– Спасибо, покурил. Хутор-то наш? Здоровый хутор. Никак, дворов триста.

– Церковь есть?

– А как же, есть.

– Кузнецы есть?

– Ковали, то есть? Есть и ковали.

– А при мельнице слесарная имеется?

Федот взвожжал занудившегося коня, неприязненно оглядел черную шляпу и на крупном белом лице морщины, втыкавшиеся в короткую черную бороду.

– Вам чего надо-то?

– А я в ваш хутор переезжаю жить. Сейчас вот был у станичного атамана. Вы порожняком едете?

– Порожнем.

– Заберете меня? Только я не один, жена со мной да два сундука пудов на восемь.

– Забрать можно.

Сладившись за два целковых, Федот заехал к Фроське-бубличнице, у которой стоял на квартире подрядивший его, усадил щупленькую белобрысую женщину, поставил в задок повозки окованные сундуки.

Выехали из станицы. Федот, причмокивая, помахивал на своего маштака волосяными вожжами, вертел угловатой, с плоским затылком головой: его борол любопытство. Пассажиры его скромненько сидели позади, молчали. Федот сначала попросил закурить, а потом уже спросил:

- Вы откель же прибываете в наш хутор?
- Из Ростова.
- Тамошний рожак?
- Как вы говорите?
- Спрашиваю: родом откеда?
- А-а, да-да, тамошний, ростовский.

Федот, поднимая бронзовые скулы, вгляделся в далекие заросли степного бурьяна: Гетманский шлях тянулся на изволок, и на гребне, в коричневом бурьянном сухостое, в полверсте от дороги калмыцкий, наметанно-зоркий глаз Федота различил чуть приметно двигавшиеся головки дроф.

– Ружьишка нету, а то б заехали на дудаков. Вон они ходят... – вздохнул, указывая пальцем.

- Не вижу, – сознался пассажир, подслепом моргая.

Федот проводил глазами спускавшихся в балку дроф и повернулся лицом к седокам. Пассажир был среднего роста, худошав, близко поставленные к мясистой переносице глаза светлели хитрецей. Разговаривая, он часто улыбался. Жена его, закутавшись в вязаный платок, дремала. Лица ее Федот не разглядел.

- По какой же надобности едете в наш хутор на жительство?

– Я слесарь, хочу мастерскую открыть. Столярничаю. Федот недоверчиво оглядел его крупные руки, и пассажир, уловив этот взгляд, добавил:

– К тому же я являюсь агентом от компании «Зингер» по распространению швейных машин.

- Чей же вы будете по прозвищу? – поинтересовался Федот.
- Моя фамилия Штокман.
- Не русский, стало быть?
- Нет, русский. Дед из латышей происходил.

За короткое время Федот узнал, что слесарь Штокман Иосиф Давыдович работал раньше на заводе «Акса́й», потом на Кубани где-то, потом в Юго-восточных железнодорожных мастерских.

Помимо этого, еще кучу подробностей чужой жизни выпытал любознательный Федот.

Пока доехали до Казенного леса, иссяк разговор. В придорожном родниковом колодце напоил Федот припотевшего маштака и, осовелый от тряски и езды, начал подремывать. До хутора осталось верст пять.

Федот примотал вожжи; свесил ноги, прилег поудобней.

Вздремнуть ему не удалось.

- Как у вас житье? – спросил Штокман, подпрыгивая и качаясь на сиденье.
- Живем, хлеб жуем.
- А казаки, что же, вообще, довольны жизнью?
- Кто доволен, а кто и нет. На всякого не угодишь.
- Так, так... – соглашался слесарь. И, помолчав, продолжал задавать кривые, что-то таившие за собой вопросы: – Сытно живут, говоришь?
- Живут справно.
- Служба, наверное, обременяет? А?
- Служба-то?... Привычные мы, только и поживешь, как на действительной.
- Плохо вот то, что справляют всё сами казаки.

– Да как же, туды их мать! – оживился Федот и опасливо глянул на отвернувшуюся в сторону женщину. – С этим начальством беда... Выхожу на службу, продал быков – коня справил, а его взяли и забраковали.

– Забраковали? – притворно удивился слесарь.

– Как есть, вчистую. Порченный, говорят, на ноги. Я так, я сак: «Войдите, говорю, в положение, что у него ноги, как у призового жеребца, но ходит он петушиной рысью... проходка у него петушиная». Нет, не признали. Ить это раз-з-зор!..

Разговор оживился. Федот в увлечении соскочил с повозки, охотно стал рассказывать о хуторянах, ругать хуторского атамана за неправильную дележку луга, расхваливая порядки в Польше, где полк его стоял во время отбывания им действительной службы. Слесарь остервенным взглядом узко сведенных глаз бегал по Федоту, шагавшему рядом с повозкой, курил легкий табак из костяного с колечками мундштука и часто улыбался; но косая поперечная морщина, рубцевавшая белый покатый лоб, двигалась медленно и тяжело, словно изнутри толкаемая ходом каких-то скрытых мыслей.

Доехали до хутора перед вечером.

Штокман, по совету Федота, сходил ко вдовой бабе Лукешке Поповой, снял у нее две комнаты под квартиру.

– Кого привез из станицы? – спрашивали у Федота соседки, выждав его у ворот.

– Агента.

– Какого такого агента?

– Дуры, эх, дуры! Агента, сказано вам, – машинами торгует. Красивым так раздает, а дурным, таким вот, как ты, тетка Марья, за деньги.

– Ты-то, дьявол клешнятый, хорош. Образина твоя калмыцкая!.. На тебя конем не наедешь: испужается.

– Калмык да татарин – первые люди в степе, ты, тетушка, не шути!.. – уходя, отбивался Федот.

Поселился слесарь Штокман у косой и длинноязыкой Лукешки. Ночь не успел заночевать, а по хутору уж бабы языки вывалили.

– Слыхала, кума?

– А что?

– Федотка-калмык немца привез.

– Ну-ну?..

– И вот тебе мать божья! В шляпе, а по прозвищу Штопол чи Штокал...

– Никак, из полицейских?

– Акцизный, любушка.

– И-и-и, бабоньки, брешут люди. Он, гутарют, булгахтир, все одно как попа Панкратия сынок.

– Пашка, сбегай, голубь, к Лукешке, спроси у ней потихоньку, мол: «Тёта, кого к тебе привезли?»

– Шибчей беги, чадунюшка!

На другой день приезжий явился к хуторскому атаману.

Федор Маныцков, носивший атаманскую насеку третий год, долго вертел в руках черный клеенчатый паспорт, потом вертел и разглядывал писарь Егор Жарков. Переглянулись, и атаман, по старой вахмистерской привычке, властно повел рукой:

– Живи.

Приезжий откланялся и ушел. Неделю из дому носу не показывал, жил, как сурок в сурчине. Постукивал топором, мастерскую устраивал в летней завалюхе-стряпке. Охладел к нему бабий ненасытный интерес, лишь ребятишки дни напролет неотступно торчали над плетнями, с беззастенчивым любопытством разглядывая чужого человека.

V

Григорий с женой выехали пахать за три дня до покрова. Пантелей Прокофьевич прихворнул; опираясь на костыль, охая от боли, ломавшей поясницу, вышел проводить пахарей.

– Энти два улеша вспаши, Гришка, что за толокой у Красного лога.

– Ну-ну. А что под Таловым яром деляна, с энтой как? – шепотом спрашивал перевязавший горло, охрипший на рыбальстве Григорий.

– После покрова. Зараз и тут хватит. Полтора круга¹² под Красным, не жадуй.

– Петро не приедет пособить?

– Они с Дашкой на мельницу поедут. Надо ноне смолоть, а то завозно.

Ильинична совала Наталье в кофту мягких бурсаков, шептала:

– Может, Дуняшку бы взяла погонять быков?

– Управимся и двое.

– Ну гляди, ягодка. Христос с тобой.

Изгибая тонкий стан под тяжестью вороха мокрой одежды, Дуняшка прошла через двор к Дону полоскать.

– Наташа, милушка, там в Красном логу воробьиного щавлю – сила, нарви!

– Нарву, нарву.

– Цыц, стрекотуха! – Пантелей Прокофьевич махал костылем. Три пары быков потянули по дороге перевернутый запашник, чертя затвердевшую от осеннего сухостоя и бездождья черствую землю. Григорий поминутно поправлял жавший шею платок, шел по обочине дороги, кашлял. Наталья шагала рядом с ним, на спине ее колотился мешок с харчами.

В степи за хутором стыла прозрачная тишина. За толокой, за сутулым бугром расчесывали землю плугами, свистали погоньчи, а тут – над шляхом – голубая проседь низкорослой полыни, ощищенный овечьими зубами придорожный донник, горюнок, согнутый в богомольном поклоне, да звонкая стеклянная стынь холодеющего неба, перерезанная летающими нитями самоцветной паутины.

Петро с Дарьей, проводив пахарей, собрались на мельницу. Повесив в амбаре грохот, Петро подвевивал пшеницу. Дарья насыпала в мешки и сносила на бричку.

Пантелей Прокофьевич запряг лошадей, заботливо оправил упряжь.

– Скоро, что ль?

– Зараз, – откликнулся из амбара Петро.

На мельнице завозно. Двор густо уставлен подводами. Около весов давка. Петро кинул Дарье вожжи и соскочил с брички.

– На мой ярлык скоро? – спросил у стоявшего за весами Валета.

– Успеешь.

– Какой номер смалывают?

– Тридцать восьмой.

Петро вышел сносить мешки. В это время в весовой заругались. Чей-то охрипый, злой голос таял:

– Ты проспал, а теперь лезешь? Отойди, хохол, а то клюну! Петро по голосу угадал Якова Подкову. Прислушался. В весовой пухнул, выпирая из дверей, крик.

Четко лязгнул удар, и из дверей вывалился со сбитым на затылок черным картузом немолодой бородатый тавричанин¹³.

¹² Круг – четыре гектара.

¹³ Тавричанами называли на Дону украинцев, чьи предки были по приказу Екатерины II переселены из южных, соседних

– За шо? – крикнул он, хватаясь за щеку.

– Я тебе зоб вырву!..

– Нет, погоди!

– Микихвор, сюда!..

Яков Подкова (на службе ковал коня; взыграв, стукнул тот копытом по лицу Якова, и, проломив нос, разрезав губы, вылегла на лице подкова; овальный шрам зарос, посинел, пятнышками чернели следы острых шипов, от этого и прозвище – Подкова), бравый, плотно сбитый батареец выбежал из дверей, подсучивая рукава. Сзади его крепко хлобыстнул высокий, в розовой рубаше, тавричанин. Подкова покачнулся, но на ногах устоял.

– Братцы, казаков бьют!..

Из дверей мельницы на двор, заставленный возами, как из рукава, вперемешку посыпались казаки и тавричане, приехавшие целым участком.

Свалка завязалась у главного входа. Хрястнули двери под напором нахлынувших тел. Петро кинул мешок и, крякнув, мелкими шажками затрусил к мельнице. Привстав на возу, Дарья видела, как Петро втесался в середину, валяя подручных; охнула, когда Петра на кулаках донесли до стены и уронили, топча ногами. Из-за угла от машинной, размахивая железным болтом, бежал вприскок Митька Коршунов.

Тот самый тавричанин, который сзади ударил Подкову, вырвался из кучи, за спиной его подбитым птичьим крылом трепыхался разорванный розовый рукав. Низко пригибаясь, чертя руками землю, тавричанин добежал до первой повозки и легко вывернул оглоблю. Над мельничным двором тягуче и хрипло плыло:

– А-а-а-а-а...

– Гу-у-у-у...

– А-я-я-а-а-а-а!..

Хряск. Стук. Стон. Гуд...

Трое братьев Шумилиных прибежали из дому. Безрукий Алексей упал в калитке, запутавшись ногами в брошенных кем-то вожжах; вскочил, запрыгал через сомкнутые дышла повозок, прижимая к животу холостой левый рукав. У брата его Мартина вылезла из белого чулка заправленная штанина; нагнулся, хотел вобрать, но у мельницы всплеснулся вой. Чей-то крик взлетел высоко над покатою крышей мельницы, как взвихренная нитка паутины. Мартин выпрямился и кинулся догонять Алексея.

Дарья смотрела с воза, задыхаясь, ломая пальцы; кругом взвизгивали и выли бабы, беспокойно стригли ушами лошади, взмыкивали, прижимаясь к возам, быки... Мимо проковылял, плямкая губами, бледный Сергей Платонович, под жилеткой круглым яйцом катался живот. Дарья видела, как Митьку Коршунова подкосил оглоблей тавричанин в расшматованной розовой рубаше и сейчас же упал навзничь, выронив расщепленную оглоблю, а на него ступил безрукий Алексей, прислонивший к тавричанскому затылку свой кулак-свинчатку. Перед глазами Дарьи разноцветными лоскутьями мелькали разрозненные сценки побоища; она видела и не удивлялась тому, как Митька Коршунов, стоя на коленях, резнул железным болтом бежавшего мимо Сергея Платоновича; тот вскинул размахавшимися руками и пополз раком в весовую; его топтали ногами, валили навзничь... Дарья истерически хохотала, ломались в смехе черные дуги ее подкрашенных бровей. Оборвала сумасшедший смех, наткнувшись глазами на Петра: качаясь, выбрался он из колыхавшейся, гудевшей гущи и лег под возом, харкая кровью. Дарья метнулась к нему с криком. А из хутора бежали казаки с кольями, один махал пешней. Побоище принимало чудовищные размеры. Дрались не так, как под пьянку у кабака или в стенках на масленицу. У дверей весовой лежал с проломленной головой молодой тавричанин; разводя

ногами, окунал голову в черную спекшуюся кровь, кровавые сосульки волос падали на лицо; как видно, отходил свое по голубой веселой земле...

Тавричан, сгрудившихся овечьим гуртом, оттеснили к завозчицкой. Худым бы кончилось дело, если б старик тавричанин не догадался: вскочив в завозчицкую, он выдернул из печи искрящуюся головню и выбежал из дверей. Бежал к сараю, где хранился отмок, тысяча с лишком пудов хлеба. Из-за плеча его кисею вился дым, выпархивали тусклые в дневном свете искры.

– Запа-лю-у-уу! – дико взревел, поднося к камышовой крыше трескучую головню.

Казаки дрогнули и стали. Сухой порывистый ветер дул с востока, относя дым от крыши завозчицкой к куче сгрудившихся тавричан.

Одну добротную искру в сухой слежалый камыш крыши – и дымом схватится хутор...

Гул, глухой и короткий, тронул ряды казаков. Кое-кто задом отходил к мельнице, а тавричанин, махая головней, сея огненные капли из сизого дыма, кричал:

– Спалю!.. Спа-лю-у-уу! Уходи с двора!..

Синий во многих местах изуродованного своего лица, Яков Подкова – зачинщик драки – первый покинул мельничный двор. За ним стекли казаки, поспешно и скоро.

Тавричане, побросав мешки, запрягли в брички лошадей и, стоя, махая узлами ременных вожжей, полосуя лошадей кнутами, вырвались со двора и загрохотали по улице за хутор.

Безрукий Алексей – посреди двора; мечется по поджарому животу холостой, завязанный в конце рукав рубахи, всегдашней судорогой дергаются глаз и щека.

– На коней, казаки!..

– Догнать!..

– Дале гребня не ускачут!..

Митька Коршунов, кособочась, кинулся было со двора. Заметная суматоха вновь рябью тронула собравшихся у мельницы казаков, но в момент этот от машинной скорыми шагами подошел, никем раньше не примеченный, незнакомый, в черной шляпе человек; строгая толпу лезвиями узко сведенных остреньких глаз, поднял руку:

– Обождите!

– Ты кто такой? – Подкова сдвинул танцующие брови.

– Откель сорвался?

– Узы его!

– Га!..

– Тю-у-у!..

– Постойте, станичники!..

– Куцый кобель тебе станишник!

– Мужик!

– Лапоть дровяной!

– Дай ему, Яш!

– По гляделкам ему!.. По гляделкам!..

Человек улыбнулся смущенно, но без боязни, снял шляпу, жестом беспримерной простоты вытирая лоб, улыбкой обезоружил вконец.

– В чем дело? – Он махнул сложенной вдвое шляпой, указывая на черную, впитанную землей кровь у дверей весовой.

– Хохлов били, – мирно ответил безрукий Алексей и подморгнул щекой и глазом.

– Да за что били?

– За очередь. Не залазь наперед, – пояснил Подкова, выступая вперед, широким взмахом вытирая красную соплю под носом.

– Вложили им память!

– Эх, догнать ба... В степе не зажгешь.

- Сробели мы, а небось не посмел бы?
- Человек – в отчаянности, зажег бы, как пить дать.
- Хохлы, они огромно сердитые, – усмехнулся Афонька Озеров. Человек махнул шляпой в его сторону.
- А ты кто?

Тот презрительно цвиркнул через скважину щербатого рта и, проследив за полетом слюнной петли, отставил ногу.

- Я-то казак, а ты не из цыганев?
 - Нет. Мы с тобой обое русские.
 - Бреешь! – раздельно выговорил Афонька.
 - Казаки от русских произошли. Знаешь про это?
 - А я тебе говорю – казаки от казаков ведутся.
 - В старину от помещиков бежали крепостные, селились на Дону, их-то и прозвали казаками.
 - Иди-ка ты, милый человек, своим путем, – сжимая запухшие пальцы в кулак, сдержанно-злобно посоветовал Алексей безрукий и заморгал чаще.
 - Сволочь поселилась!.. Ишь поганка, в мужиков захотел переделать!
 - Кто это такой? Слышишь, Афанасий?
 - Приехал тут какой-то. У Лукешки косой квартирует.
- Момент для погони был упущен. Казаки расходились, оживленно обсуждая происшедшую стычку.

Ночью за восемь верст от хутора, в степи, кутаясь в колючий плотный зипун, Григорий тоскливо говорил Наталье:

– Чужая ты какая-то... Ты – как этот месяц: не холодишь и не греешь. Не люблю я тебя, Наташка, ты не гневайся. Не хотел гутарить про это, да нет, видно, так не прожить... И жалко тебя – кубыть, за эти деньки и сроднились, а нету на сердце ничего... Пусто. Вот как зараз в степе...

Наталья глядела вверх на недоступное звездное займище, на тенистое призрачное покрывало плывущей над ними тучи, молчала. Оттуда, с черно-голубой вышней пустоши, серебряными колокольцами кликали за собой припозднившиеся в полете журавли.

Тоскливо, мертвенно пахли отжившие травы. Где-то на бугре мерцала кумачная крапинка разложенного пахарями костра...

Перед светом Григорий проснулся. На зипуне на два вершка лежал снег. В мерцающей девственной голубизне свежего снега томилась степь, и, четкие, синели возле стана следы плутавшего по первопутку зайца.

VI

С давних пор велось так: если по дороге на Миллерово ехал казак один, без товарищей, то стоило ему при встрече с украинцами (слободы их начинались от хутора Нижне-Яблоновского и тянулись вплоть до Миллерова на семьдесят пять верст) не уступить дороги, украинцы избивали его. Оттого ездили на станцию по несколько подвод вместе и тогда уж, встречаясь в степи, не боялись вступить в перебранку.

– Эй, хохол! Дорогу давай! На казачьей земле живешь, сволочуга, да ишо дорогу уступать не хочешь?

Несладко бывало и украинцам, привозившим к Дону на Парамоновскую ссыпку пшеницу. Тут драки начинались безо всякой причины, просто потому, что «хохол», а раз «хохол» – надо бить.

Не одно столетие назад заботливая рука посеяла на казачьей земле семена сословной розни, растила и холила их, и семена гнали богатые всходы: в драках лилась на землю кровь казаков и пришельцев – русских, украинцев.

Через две недели после драки на мельнице в хутор приехали становой пристав и следователь.

Штокмана вызвали на допрос первого. Следователь, молодой, из казачьих дворян чиновник, роясь в портфеле, спросил:

– Вы где жили до приезда сюда?

– В Ростове.

– В тысяча девятьсот седьмом году за что отбывали тюремное наказание?

Штокман скользнул глазами по портфелю и косому, в перхоти, пробору на склоненной голове следователя.

– За беспорядки.

– Угу-м... Где вы работали в то время?

– В железнодорожных мастерских.

– Профессия?

– Слесарь.

– Вы не из жидов? Не выкрест?

– Нет. Я думаю...

– Мне неинтересно знать, что вы думаете. В ссылке были?

– Да, был.

Следователь поднял голову от портфеля, пожевал выбритыми, в пупырышках, губами.

– Я вам посоветую уехать отсюда... – И про себя: – Впрочем, я сам постараюсь об этом.

– Почему, господин следователь?

На вопрос вопросом:

– О чем вы имели беседу с местными казаками в день драки на мельнице?

– Собственно...

– А ну, можете быть свободны.

Штокман вышел на террасу моховского дома (у Сергея Платоновича всегда останавливалось начальство, минуя въезжую) и, пожимая плечами, оглянулся на створчатые крашенные двери.

VII

Зима легла не сразу. После покрова стоял выпавший снег, и табуны снова выгнали на подножный. С неделю тянул южный ветер, тепло, отходила земля, ярко доцветала в степи поздняя мшистая зеленка.

Ростепель держалась до Михайлова дня, потом даванул мороз, вывалил снег; день ото дня холод крепчал, подпало еще на четверть снегу, и на опустевших обдонских огородах, через занесенные по маковки плетни, девичьей прошивной мережкой легли петлистые стежки заячьих следов. Улицы обезлюдели.

Пластался над хутором кизячный дым, возле кучек рассыпанной у дороги золы расхаживали налетевшие к жилью грачи. Сизой, выцветшей лентой закривилась по хутору санная ровень дороги-зимнухи.

На майдане собрался однажды сход: подходили дележ и порубка хвороста. Толпились у крыльца правления в тулупах и шубах, поскрипывали валенками. Холод загнал в правление. За столом, по бокам от атамана и писаря, расселись почетные – в серебряной седине бород – старики, помоложе – с разномастными бородами и безбородые – казаки жались в кураготы,

гудели из овчинной теплыни воротников. Писарь крыл бумагу убористыми строками, атаман засматривал ему через плечо, а по нахолодавшей комнате правления приглушенным гудом:

- Сенá ноне...
- Во-во... Луговое – корм, а со степи – гольный донник.
- Бывалоча, в старину до рождества в попасе.
- Калмыкам добро!
- Экхе-м...
- У атамана-то волчий ожерелок, ишь голову не повернет.
- Калкан нажрал, боров, дьявол!
- Тю, сват, аль зиму пужаешь? Тулупишше-то...
- Цыган теперича шубу продал.
- На святках ночуют это цыгане в степе, а укрываться нечем, бреднем оделся, забрало до тонкой кишки – проснулся цыган, палец-то в ичейку просунул и матери: «Ху, маманя, гутарит, то-то на базу и холодишша!..»
- Упаси бог – сколизь зачнется.
- Быков ковать, не иначе.
- Надьсь рубил я белотал у Чертовой ендовы, хорош.
- Захар, мотню застегни... Отморозишь – баба с база сгонит.
- Гля, Авдеич, ты, что ль, общественного бугая правдаешь?
- Отказался. Паранька Мрыхина взялась... Я, дескать, вдова, все веселей. Владай,

говорю, в случай приплод...

- Эх-ха-ха-ха!
- Гы-гы-гыы!..
- Господа старики! Как всчет хвороста?.. Тишше!
- В случае, говорю, приплод объявится... кумом, стал быть...
- Тише! Покорнейше просим!

Сход начался. Атаман, поглаживая запотевшую насеку, выкрикивал фамилии раздатчиков, дымился паром, обдирал мизинцем сосульки с бороды. Позади, у хлопающей двери – пар, давка, звучные хлопки сморканий.

– В четверг нельзя назначать порубку! – старался перекричать атамана Иван Томилин и тер пунцовые уши, кособоча голову в синей артиллерийской фуражке.

- Как так?
- Ухи оторвешь, пушкарь!
- Мы ему бычиные пришьем.
- В четверг половина хутора за сеном на отвод собираются. Эк рассудили!..
- С воскресенья поедешь.
- Господа старики!..
- Чего там!
- В добрый час!
- Гу-у-у-у-у!..
- Го-го-го-ооо!..
- Га-а-а-а-а!..

Старик Матвей Кашулин, перегибаясь через шаткий стол, запальчиво взвизгивал, тыкал в сторону Томилина ясеным гладким костылем:

– Погодишь с сеном!.. Небось!.. Как обчество... Ты сроду поперек становишься. Молодой, дурак, братец ты мой!.. Вот!.. Ишь ты!.. Вот...

– Ты сам до старости ума в соседях занимаешь... – Выпячивая голову из задних рядов, безрукий Алексей частил, примаргивал глазом, судорожно дергал дырявой щекой.

Он шесть лет враждовал со стариком Кашулиным из-за клочка перепаханной земли. Бил его каждую весну, а земли захватил у него Матвей Кашулин с воробынью четверть – зажмурившись, переплунуть можно.

– Замолчь, судорога!

– Жалкую, что далеко – отсель не достану, а то я бы тебя тыкнул, аж красную соплю б уронил!

– Ишь ты, моргун косорукий!..

– Цыцте вы, связались!..

– Вон на баз, там и склещитесь. Право.

– Брось, Алексей, вишь, старик наежился, ажник папах на голове шевелится.

– В тигулевку их, какие скандальничают!..

Атаман плюснул кулак в пискнувший стол.

– Зараз сидельцев позову! Молчать!..

Смолкая, гул прошелся до задних рядов и заглох.

– В четверг, как рассветется выезжать на порубку.

– Как вы, господа старики?

– В добрый час!

– Давай бог!

– Ноне стариков не дюже слушают...

– Небось, будут слушать. Аль управу не сыщем? Мой Алексашка, как отделял его, было-к в драку кинулся, за грудки хватался. Я его доразу секанул: «Зараз же заявлю атаману и старикам, выпорем...» Посмирнел, слег, как трава под полой водой.

– А ишо, господа старики, получена от станишного атамана распоряжения. – Атаман перевел голос и покрутил головой: стоячий воротник мундира, задирая подбородок, врезался в шею. – В эту субботу в станицу молодым на присягу. Чтоб к вечеру были у станишного правления.

У крайнего к двери окна Пантелей Прокофьевич, по-журавлиному поджимая хромую ногу, стоял рядом со сватушкой. Мирон Григорьевич в распахнутом тулупе сидел на подоконнике, улыбался в гнедую бороду. На коротких белесых ресницах его пушился иней, коричневые крупные конопины налились от холода кровью, посерели. Около, перемигиваясь, улыбаясь, толпились казаки помоложе, а в середине, сдвинув на плоский лысеющий затылок синеверхую атаманскую, с серебряным перекрестом, папаху, покачивался на носках одногодок Пантелея Прокофьевича – нестареющий, вечно налитой, как яблоко антоновка, румянцем – Авдеич, по кличке Брех.

Служил Авдеич когда-то в лейб-гвардии Атаманском полку. На службу пошел Синилиным, а вернулся... Брехом.

Он первый из хутора попал в Атаманский полк, и диковинное поделалось с казаком: рос парнем, как и все; водилась за ним с малых лет малая придурь, а со службы пришел – и пошло колесом под гору. С первого же дня, как только вернулся, начал рассказывать диковинные истории про службу свою при царском дворце и про свои необыкновеннейшие в Петербурге приключения. Ошалелые слушатели сначала верили, разинув рты, принимали на совесть, а потом и открылось, что – враль Авдеич, каких хутор с основания своего не видывал; над ним смеялись в открытую, но он не краснел, уличенный в чудовищных своих измышлениях (а может, и краснел, да за всегдашним румянцем не разобрать), и врать не переставал. Под старость вовсе свихнулся. Припрут к стене – обидится, в драку лезет, а молчат, посмеиваются – горит в небывальщине, насмешек не замечает.

Был в хозяйстве – дельный и работающий казак, делал все с рассудком, кое-где и с хитринкой, а когда касался разговор атаманской его службы... тут уж всякий просто руками разводил, приседая на землю от хохота, выворачивавшего нутро.

Авдеич стоял в середине, качался на растоптанных в круглышок валенках; оглядывая толпившихся казаков, говорил веско и басовито:

– Ноне казак совсем отменитый. Мелкий казак и никудышний. Соплей любого надвое перешибешь. Так, словом, – и, презрительно улыбаясь, придавливал валенком плевком, – мне довелось в станице Вешенской поглядеть на мертвые костяки, вон было казачество – это да!..

– Где же раскопал их, Авдеич? – спросил голощекий Аникушка, толкая локтем соседа.

– Ты, односум, уж не брешу, ради близкого праздника. – Пантелей Прокофьевич сморщил горбатый нос и дернул в ухе серьгу. Он не любил пустобреха.

– Я, брат, сроду не брешу, – внушительно сказал Авдеич и с удивлением оглядел Аникушку, дрожавшего, как в лихорадке. – А видал мертвячьи кости, как дом строили моему шуруну. Зачали фундамент класть, отрыли могилу. Стал быть, в старину тут у Дона, возле церкви, и кладбище было.

– Что ж костяки-то? – недовольно спросил Пантелей Прокофьевич, собираясь уходить.

– Ручина – во, – Авдеич развел граблястые руки, – голова – ей-богу, не брешу – с польской котел.

– Ты, Авдеич, лучше рассказал бы молодым, как ты в Санкт-Петербурге разбойника споймал, – предложил Мирон Григорьевич и слез с подоконника, запахивая тулуп.

– Что там рассказывать-то, – заскромничал Авдеич.

– Расскажи!

– Просим!

– Сделай честь, Авдеич!

– Оно, видишь, как случилось. – Авдеич откашлялся и достал из шаровар кисет. Всыпав на скрюченную ладонь щепоть табаку, кинул в кисет вывалившиеся оттуда два медяка, обвел слушателей счастливыми глазами. – Из крепости убежал зарестованный злодей. Туды-сюды искать – нету. Вся власть с ног сбилась. Пропал вовзят – и шабаш! Ночью призывает меня караульный офицер, прихожу... Да-а-а... «Иди, говорит, в покой ихнего инператорского величества, тебя... сам государь инператор требует». Я, конечно, оробел, вхожу. Стал во фронт, а он, милостивец, ручкой меня по плечу похлопал и говорит: «Вот что, говорит, Иван Авдеич, убежал первый для нашей инперии злодей. В землю заройся, а сыщи, иначе и на глаза не являйся!» – «Слушаюсь, ваше инператорское величество», – говорю. Да-а-а... братцы мои, была мне закрутка... Взял я из царской конюшни тройку первеющих коней и марш-марш. – Авдеич, закуривая, оглядел потупленные головы слушателей, одушевляясь, загремел из висячего облака дыма, закутавшего его лицо: – День скачу, ночь скачу. Аж на третьи сутки под Москвой догнал. В карету его, любушку, и тем следом обратно. Приезжаю в полночь, весь в грязи, и прямо иду к самому. Меня это разные-подобные князья с графьями не пускать, а я иду. Да... Стучусь. «Дозвольте, ваше инператорское величество, взойтить». – «А это кто таков?» – спрашивает. «Это я, говорю, Иван Авдеич Синилин». Поднялась там смятенья, – слышу, сам кричит: «Марея Федоровна, Марея Федоровна! Вставай скорей, ставь самовар, Иван Авдеич приехал!»

Гроном лопнул в задних рядах смех. Писарь, читавший объявления о пропавшем и приблудившемся скоте, споткнулся на фразе: «левая нога по щиколку в чулке». Атаман гусаком вытянул шею, рассматривая колыхавшуюся в хохоте толпу.

Авдеич дернул папаху, – хмурясь, растерянно перебегал глазами с одного на другого.

– Погодите!

– Охо-ха-ха-ха!..

– Ох, сме-е-ертынь-ка!..

– Гык-гык-гы-ы-ык!..

– Авдеич, кобель лысый, ох-охо!..

– «Ставь само-о-вар. Авдеич приехал!» Ну и ну!

Сход начал расходиться. Тягуче, беспрерывно стонали дощатые промерзшие порожки крыльца. На затаптанном у правления снегу возились, согреваясь в борьбе, Степан Астахов и высокий голенастый казак – хозяин ветряка-голландки.

– Через голову мирошника! – советовали окружавшие их казаки. – Вытряси из него отрубя, Степка!

– Ты под силы-то не перехватывай! Догадлив дюже ишь! – горячился, подскакивая поворобыному, старик Кашулин и в увлечении не замечал ядреной светлой капли, застенчиво повиснувшей на пипке его сизого носа.

VIII

Пантелей Прокофьевич вернулся со схода и прямо прошел в боковушку, комнату, которую он занимал со старухой. Ильинична эти дни прихварывала. На водянисто-пухлом лице ее виднелись усталость и боль. Она лежала на высоко взбитой перине, привалясь спиной к подушке, поставленной торчмя. На туп знакомых ей шагов повернула голову, с давнишней, прижившейся на ее лице суровостью глянула на мужа, остановила взгляд на мокрых от дыхания завитках бороды, теснивших рот Прокофьевича, на слежалых, влитых в бороду влажных усах, двинула ноздрями, но от старика несло морозом, кислым душком овчины. «Тверезый ноне», – подумала и, довольная, положила на пухлый свой живот чулок со спицами и недовязанной пяткой.

– Что ж порубка?

– В четверг порешили. – Прокофьевич разгладил усы. – В четверг с утра, – повторил он, присаживаясь рядом с кроватью на сундук. – Ну, как? Не легшает все?

На лицо Ильиничны тенью легла замкнутость.

– Так же... Стреляет в суставы, ломит.

– Говорил дуре, не лезь в воду осенью. Раз знаешь за собой беду – не рыпайся! – вскипел Прокофьевич, чертя по полу костылем широкие круги. – Аль мало баб? Будь они трижды прокляты, твои конопи: помочила, а теперя... Бож-же-жж мой, то-то... Эх!..

– Конопям тоже не пропадать. Баб не было: Гришка со своей пахал, Петро с Дарьей где-то ездили.

Старик, дыша на сложенные ладони, нагнулся к кровати:

– Наташка как?

Ильинична оживилась, заговорила с заметной тревогой:

– Что делать – не знаю. Надясь опять кричала. Вышла я на баз, гляжу – дверь амбарную расхлебенил кто-то. Сем-ка пойду притворю, думаю. Возшла, а она у просяного закрома стоит. Я к ней: «Чего ты, чего, касатка?» А она: «Голова что-то болит, маманя». Правды ить не добьешься.

– Может, хвораю?

– Нет, пытала... Либо порчу напустили, либо с Гришкою чего...

– Он к этой... случаем, не прибивается опять?

– Что ты, дед! Что ты! – Ильинична испуганно всплеснула руками. – А Степан, аль, глупой? Не примечала, нет.

Старик посидел немного и вышел.

Григорий в своей горнице подтачивал напилком крюки на нарезных снастях. Наталья смазывала их свиным растопленным жиром, аккуратно заворачивала каждый в отдельную тряпочку. Пантелей Прокофьевич, похрамывая мимо, пытливо глянул на Наталью. На пожелтевших щеках ее, как на осеннем листке, чахнул неяркий румянец. Она заметно исхудала за этот месяц, в глазах появилось что-то новое, жалкое. Старик остановился в дверях. «Эк, выхолил

бабу!» – подумал, еще раз взглянув на склоненную над лавкой гладко причесанную голову Натальи.

Григорий сидел у окна, дергая напилком, на лбу его черной спутанной челкой прыгали волосы.

– Брось к чертовой матери!.. – багровея от приступившего бешенства, крикнул старик и сжал костыль, удерживая руку.

Григорий вздрогнул, недоумевая поднял на отца глаза:

– Хотел вот два конца сточить, батяня.

– Брось, тебе велят! На порубку собирайся!

– Я зараз.

– Притык в санях ни одной нету, а он – крючья, – уже спокойнее проговорил старик и, потоптавшись около дверей (как видно, еще что-то хотел сказать), вышел. Остаток злобы сорвал на Петре.

Григорий, надевая полушубок, слышал, как отец кричал во дворе:

– Скотина до се непоенная, чего ж ты глядишь, такой-сякой?.. А это кто прикладок, что возле плетня, расчал? Кому гутарил, чтоб не трогали крайнего прикладка?.. Потравите, проклятые, самое доброе сено, а к весне в пахоту чем быков будешь правдять?..

В четверг, часа за два до рассвета, Ильинична разбудила Дарью:

– Вставай, пора затоплять.

Дарья в одной рубашке кинулась к печке. В конурке нашарила серники, зажгла огонь.

– Ты поскорей стряпайся, – торопил жену взлохмаченный Петро, закуривая и кашляя.

– Наташку-то жалеют будить, дрыхнет, бессовестная. Что же, я надвое должна разорваться? – бурчала заспанная, сердитая спресонок Дарья.

– Поди разбуди, – советовал Петро.

Наталья встала сама. Накинув кофту, вышла в катух за кизяками.

– Поджожек принеси! – командовала старшая сноха.

– Дуняшку пошли за водой, слышь, Дашка? – с трудом передвигая по кухне ноги, хрипела Ильинична.

В кухне пахло свежими хмелинами, ременной сбруей, теплом человеческих тел. Дарья бегала, шаркая валенками, грохотала чугунами; под розовой рубашкой, с засученными по локоть рукавами, трепыхались маленькие груди. Замужняя жизнь не изжелтила, не высушила ее: высокая, тонкая, гибкая в стану, как красноталовая хворостина, была она похожа на девушку. Вилась в походке, перебирая плечами; на окрики мужа посмеивалась; под тонкой каймой злых губ плотно просвечивали мелкие частые зубы.

– С вечера надо было кизяков наложить. Они б в печке подсохли, – недовольно бурчала Ильинична.

– Забыла, мамаша. Наша беда, – за всех отвечала Дарья.

Пока отстряпались – рассвело. Пантелей Прокофьевич, обжигаясь жидкой кашей, спешил позавтракать. Хмурый Григорий жевал медленно, гоня по-над скулами комки желваков. Петро потешался, незаметно для отца передразнивая Дуняшку, завязавшую от зубной боли щеку.

По хутору скрипели полозья. В серой рассветной мари двигались к Дону бычачьи подводы. Григорий с Петром вышли запрягать. На ходу заматывая мягкий шарф – невестин жениху подарок, – Григорий глотал морозный и сухой воздух. Горловой полнозвучный крик уронил, пролетая над двором, ворон. Отчетливо в морозной стыни слышен шелест медленных во взмахах крыльев. Петро проследил за полетом, сказал:

– К теплу, на юг правится.

За розовеющим, веселым, как девичья улыбка, облачком маячил в небе тоненький-тоненький краешек месяца. Из трубы дыбом вставал дым и, безрукий, тянулся к недоступно далекому, золотому, отточенному лезвию ущербного месяца.

Против мелеховского двора Дон не замерз. По краям зеленоватый в снежных переносах крепнул лед, под ним ластилась, пузырилась не захваченная стремением вода, а подальше середины, к левому берегу, где из черноты били ключи, грозная и манящая чернела полынья в белых снежных заедях; по ней черными конопушками переныривали оставшиеся на зимовку дикие утки.

Переезд шел от площади.

Пантелей Прокофьевич, не дождавшись сыновей, первый поехал на старых быках. Петро с Григорием, поотстав, выехали следом. У спуска догнали Аникушку. Воткнув в сани топор с новехоньким топорщиком, Аникушка, подпоясанный зеленым кушаком, шел рядом с быками. Жена его, мелкорослая, хворающая бабенка, правила. Петро еще издали крикнул:

– Сосед, ты, никак, бабу волокешь с собой?

Смешливый Аникушка, приплясывая, подошел к саням.

– Везу, везу. Для сугреву.

– Тепла от ней мало, суха дюже.

– Овсом кормлю, а вот не поправляется.

– Нам в одной деляне хворост? – спросил Григорий, соскочив со своих саней.

– В одной, ежели закурить дашь.

– Ты, Аникей, сроду на чужбинку.

– Ворованное да выпрошенное всего слаже, – подхакивал Аникушка, морща голое бабье лицо улыбкой.

Поехали вместе. В лесу, завешанном кружевным инеем, строгая белая Аникушка ехал впереди, шелкая кнутом по нависшим над дорогой веткам. Снег, игольчатый и рыхлый, падал гроздьями, осыпая закутанную Аникушкину жену.

– Не дури, черт! – кричала она, отряхиваясь.

– Ты ее в сугроб носом! – кричал Петро, норовя попасть кнутом быку под пузо, для пушего хода.

На повороте к Бабьим ендам наткнулись на Степана Астахова. Он гнал распряженных в ярме быков к хутору, размашисто шел, поскрипывая подшитыми валенками. Курчавый обывший чуб его висел из-под надетой набекрень папахи белой виноградной кистью.

– Эй, Степа, заблудил? – крикнул, равняясь, Аникушка.

– Заблудил, мать его черт!.. Об пенек вдарил сани под раскат – полоз пополам. Пришлось вернуться. – Степан добавил похабное словцо и прошел мимо Петра, нагло щуря из-под длинных ресниц светлые разбойные глаза.

– Сани бросил? – оборачиваясь, крикнул Аникушка.

Степан махнул рукой, шелкнул кнутом, заворачивая направившихся по целине быков, и проводил шагавшего за санями Гришку долгим взглядом. Неподалеку от первой енды Григорий увидел брошенные среди дороги сани, около саней стояла Аксинья. Левою рукою придерживая полу донской шубы, она глядела на дорогу, навстречу двигавшимся подводам.

– Отойди, а то стопчу. Ух ты, жена не моя! – заржал Аникушка. Аксинья, улыбаясь, посторонилась, присела на скосбоченные, без полоза сани.

– Вон и твоя с тобой сидит.

– Влепилась, как репей в свинячий хвост, а то бы я тебя подвез.

– Спасибочка.

Петро, равняясь с ней, мельком оглянулся на Григория. Тот шел, беспокойно улыбаясь; тревога и ожидание сквозили в каждом его движении.

– Здорово живешь, соседка, – поздоровался Петро, касаясь рукавицей шапки.

– Слава богу.

– Обломались, никак?

– Обломались, – протяжно ответила Аксинья, не глядя на Петра, и встала, поворачиваясь к подходившему Григорию. – Григорь Пантелевич, сказать бы вам нужно...

Григорий свернул к ней, бросил отъезжавшему Петру:

– Наглядай за моими быками.

– Ну-но, – грязно усмехнулся Петро, заправляя в рот горький от табачного дыма ус.

Они стояли друг против друга, молчком. Аксинья тревожно глядела по сторонам, переводила влажные черные глаза на Григория. Стыд и радость выжигали ей щеки, сушили губы. Она дышала короткими, частыми вздохами.

Сани Аникушки и Петра скрылись за коричневой порослью дубняка. Григорий в упор поглядел Аксинье в глаза, увидел, как вспыхнули они балованным отчаянным огоньком.

– Ну, Гриша, как хошь, жить без тебя моченьки нету, – твердо выговорила она и накрепко сжала губы, ожидая ответа.

Григорий молчал. Тишина обручем сковала лес. Звенело в ушах от стеклянной пустоты. Притертый полозьями глянец дороги, серая ветошь неба, лес немой, смертно сонный... Внезапный клекочущий и близкий крик ворона словно разбудил Григория от недолгой дремы. Он поднял голову, увидел: вороненая, в черной синеве оперенья птица, поджав ноги, в беззвучном полете прощально машет крыльями. Неожиданно для самого себя Григорий сказал:

– Тепло будет. В теплую сторону летит... – И, встрепенувшись, хрипло засмеялся... – Ну... – Он воровски повел низко опущенными зрачками опьяневших глаз и рывком притянул к себе Аксињу.

IX

Вечером у косой Лукешки в половине Штокмана собирался разный люд: приходил Христоня; с мельницы Валет в накинутах на плечи замасленном пиджаке; скалозуб Давыдка, бывший три месяца баклуши; машинист Котляров Иван Алексеевич; изредка наведывался Филька-чеботарь, и постоянным гостем был Мишка Кошевой, еще не ходивший на действительную, молодой казак.

Резались сначала в подкидного дурака, потом как-то незаметно подсунул Штокман книжонку Некрасова. Стали читать вслух – понравилось. Перешли на Никитина, а около рождества предложил Штокман почитать затрепанную, беспереплетную тетрадку. Кошевой, окончивший когда-то церковную школу, читавший вслух, пренебрежительно оглядел промасленную тетрадь.

– Из нее лапши нарезать. Дюже жирная.

Христоня гулко захохотал, ослепительно блеснул улыбкой Давыдка, но Штокман, переждав общий смех, сказал:

– Почитай, Миша. Это про казаков. Интересная.

Кошевой, свесив над столом золотистый чуб, отдельно прочел:

– «Краткая история донского казачества». – И оглядел всех, выжидающе щурясь.

– Читай, – сказал Иван Алексеевич.

Мусолили три вечера. Про Пугачева, про вольное житье, про Стеньку Разина и Кондратия Булавина.

Добрались до последних времен. Доступно и зло безвестный автор высмеивал скучную казачью жизнь, издевался над порядками и управлением, над царской властью и над самим казачеством, нанявшимся к монархам в опричники. Заволновались. Заспорили. Загудел Христоня, подпирая головой потолочную матку. Штокман сидел у дверей, курил из костяного с колечками мундштука, смеялся одними глазами.

– Правильно! Справедливо! – бухал Христоня.

– Не сами виноваты, довели до такой страмы казаков. – Кошевой недоуменно разводил руками и морщил красивое темноглазое лицо.

Был он коренаст, одинаково широк и в плечах и в бедрах, оттого казался квадратным; на чугуноккрепком устое сидела плотная, в кирпичном румянце, шея, и странно выглядела на этой шее красивая в посадке небольшая голова с женским очертанием матовых щек, маленьким упрямым ртом и темными глазами под золотистой глыбой курчавых волос. Машинист Иван Алексеевич, высокий мослаковатый казак, спорил ожесточенно. Всосались и проросли сквозь каждую клетку его костистого тела казачьи традиции. Он вступался за казаков, обрушиваясь на Христоню, сверкая выпуклыми круглыми глазами.

– Ты обмужичился, Христан, не спорь, что там... В тебе казацкой крови – на ведро поганая капля. Мать тебя с воронежским яишником прижила.

– Дурак ты!.. Э, дурак, братец, – басил Христоня. – Я правду отстаиваю.

– Я в Атаманском полку не служил, – ехидничал Иван Алексеевич, – это в Атаманском что ни дядя, то дурак...

– И в армейских попадают такие, что невпроворот.

– Молчи уж, мужик!

– А мужики аль не люди?

– Так они и есть мужики, из лыка деланные, хворостом скляченные.

– Я, брат, как в Петербурге служил – разных видал. Был, стал быть, такой случай, – говорил Христоня, в последнем слове делая ударение на «а». – Несли мы охрану царского дворца, в покоях часы отбивали и снаружи. Снаружи над стеной верхи ездили: двое туда – двое сюда. Встренутся, спрашивают: «Все спокойно? Нету никаких бунтов?» – «Нету ничего», – и разъезжаются, а чтоб пристать поговорить – и не могли. Тоже и личности подбирали: становют, стал быть, в дверях двоих, так подгоняют, чтоб похожи один на одного были. Черные так черные стоят, а белые так белые. Не то что волосы, а чтоб и обличьем были схожи. Мне, стал быть, раз цырульник бороду красил из-за этих самых глупостей. Припало в паре стоять с Никифором Мещеряковым, – был такой казачок в нашей сотне Тепикинской станицы, – а он, дьявол, какой-то гнедой масти. Чума его знает, что за виски, кубыть, аж полымем схваченные. Искать-поискать, стал быть, нету такой масти в сотнях; мне сотник Баркин, стал быть, и говорит: «Иди в цырульню, чтоб вмиг подрисовали бороду и усы». Прихожу, ну, и выкрасили... А как глянул в зеркалу, ажник сердце захолонуло: горю! Чисто горю, и все! Возьму бороду в жменю, кубыть, аж пальцам горячо. Во!..

– Ну, Емеля, понес без колес! Об чем начал гутарить? – перебил Иван Алексеевич.

– Об народе, вот об чем.

– Ну, и рассказывай. А то об бороде своей, на кой она клеп нам спонадобилась.

– Вот я и говорю: припало раз верхи нести караул. Едем так-то с товарищем, а с угла студенты вывернулись. И видимо и невидимо! Увидели нас, как рывкнут: «Га-а-а-а-а!» Да ишо раз: «Га-а-а-а!» Не успели, стал быть, мы вспонашиться, окружили. «Вы чего, казаки, разъезжаете?» Я и говорю: «Несем караул, а ты поводи-то брось, не хватай!» И за шашку. А он и говорит: «Ты, станишник, не сомневайся, я сам Каменской станицы рожак, а тут ученье прохожу в ниверси... ниворситуте», али как там. Тут мы трогаем дале, а один носатый из портмоне вынает десятку и говорит: «Выпейте, казаки, за здоровье моего покойного папаши». Дал нам десятку и достал из сумки патрет: «Вот, гутарит, папашина личность, возьмите на добрую память». Ну, мы взяли, совестно не взять. А студенты отошли и опять: «Га-а-а-а». С тем, стал быть, направились к Невскому проспекту. Из дворцовых задних ворот сотник с взводом стрелят к нам. Подскочил: «Что такое?» Я, стал быть, говорю: «Студенты отхватили и разговор начали, а мы по уставу хотели их в шашки, а потом, как они ослобонили нас, мы отъехали, стал быть». Сменили нас, мы вахмистру и говорим: «Вот, Лукич, стал быть, заработали мы

десять целковых и должны их пропить за упокой души вот этого деда». И показываем патрет. Вахмистр вечером принес водки, и гуляли мы двое суток, а посла и объявился подвох: студент этот, стерва, замест папаши и дал нам патрет заглавного смутьяна немецкого роду. Я-то взял на совесть, над кроватью для памяти повесил, вижу – борода седая на патрете и собою подходящий человек, навроде из купцов, а сотник, стал быть, доглядел и спрашивает: «Откель взял этот патрет, такой-сякой?» – «Так и так», – говорю. Он и зачал костерить, и по скуле, да ишо, стал быть, раз... «Знаешь, орет, что это – атаман ихний Карла...» – вот, запомятовал прозвищу... Э, да как его, дай бог памяти...

– Карл Маркс? – подсказал Штокман, ежась в улыбке.

– Во-во!.. Он самый, Карла Маркс... – обрадовался Христоня. – Ить подвел под монастырь... Иной раз так что к нам в караульную и цесаревич Алексей прибегает со своими наставленниками. Ить могли доглядеть. Что б было?

– А ты все мужиков хвалишь. Ишь как тебя подковали-то, – подсмеивался Иван Алексеевич.

– Зато десятку пропили. Хучь за Карлу за бородатого пили, а пили.

– За него следует выпить, – улыбнулся Штокман и поиграл колечком костяного обкуреного мундштука.

– Что ж он навершил доброго? – спросил Кошевой.

– В другой раз расскажу, а сегодня поздно. – Штокман хлопнул ладонью, выколачивая из мундштука потухший окурок.

В завалюхе Лукешки косой после долгого отсева и отбора образовалось ядро человек в десять казаков. Штокман был сердцевиной, упрямо двигался он к одному ему известной цели. Точил, как червь древесину, нехитрые понятия и навыки, внушал к существующему строю отвращение и ненависть. Вначале наткался на холодную сталь недоверия, но не отходил, а прогрязал...

Х

На пологом песчаном левобережье, над Доном, лежит станица Вешенская, старейшая из верховых донских станиц, перенесенная с места разоренной при Петре I Чигонацкой станицы, переименованная в Вешенскую. Вехой была когда-то по большому водному пути Воронеж – Азов.

Против станицы выгибается Дон кобаржиной татарского сагайдака, будто заворачивает вправо, и возле хутора Базки вновь величаво прямится, несет зеленоватые, просвечивающие голубизной воды мимо меловых отрогов правобережных гор, мимо сплошных с правой стороны хуторов, мимо редких с левой стороны станиц до моря, до синего Азовского.

Против Усть-Хоперской роднится с Хопром, против Усть-Медведицкой – с Медведицей, а ниже стекает многоводный, в буйном цвету заселенных хуторов и станиц.

Вешенская – вся в засыпи желтопесков. Невеселая, плешивая, без садов станица. На площади – старый, посеревший от времени собор, шесть улиц разложены вдоль по течению Дона. Там, где Дон, выгибаясь, уходит от станицы к Базкам, рукавом в заросли тополей отходит озеро, шириной с Дон в мелководье. В конце озера кончается и станица. На маленькой площади, заросшей иглисто-золотой колючкою, – вторая церковь, зеленые купола, зеленая крыша, – под цвет зеленам разросшихся по ту сторону озера тополей.

А на север за станицей – шафранный разлив песков, чахлая посадка сосняка, енды, налитые розовой, от красноглинной почвы, водой. И в песчаном половодье, в далекой россыпи зернистых песков – редкие острова хуторов, левад, рыжеющая щетина талов.

На площади, против старой церкви, в декабрьское воскресенье – черная полутысячная толпа молодых казаков со всех хуторов станицы. В церкви отходила обедня, зазвонили

к «Достойно». Старший урядник – бравый престарелый казак с нашивками за сверхсрочную службу – скомандовал «строиться». Гомонившая толпа растеклась и выстроилась в две длинные неровные шеренги. По рядам забегали урядники, выравнивая волнисто-изломанные шеренги.

– Ряды-ы-ы, – затянул урядник и, сделав рукой неопределенный жест, кинул: – Вздвой!..

В ограду прошел атаман, одетый по форме, в новенькой офицерской шинели, в перезвоне шпор, следом за ним – военный пристав.

Григорий Мелехов стоял рядом с Коршуновым Митькой, переговаривались вполголоса.

– Сапог ногу жмет, терпения нету, – жаловался Митька.

– Терпи, атаманом будешь.

– Зараз поведут.

Словно в подтверждение, старший урядник, пятясь, крутнулся на каблуках.

– Напрэ-э-во!

«Гук-гук», – четко сделали пятьсот пар обутых ног.

– Левое плечо вперед, ша-гом арш!

Колонна врезалась в распахнутую калитку церковной ограды, замелькали сдернутые с голов папахи, до самого купола налилась церковь стуком шагов.

Григорий стоял, не вслушиваясь в слова присяги, которую читал священник. Вглядывался в лицо Митьки; тот морщился от боли и переставлял скованную сапогом ногу. Поднятая рука Григория затекала, в уме вразброд шла угарная возня мыслей. Подходил под крест и, целуя обслуживленное многими ртами влажное серебро, думал об Аксинье, о жене. Как вспышка зигзагистой молнии, перерезало мысли короткое воспоминание: лес, бурые стволы деревьев в белом пышном уборе, как в нарядной серебряной шлее; влажный, горячий блеск черных, из-под пухового платка Аксиньиных глаз...

Вышли на площадь. Вновь построились. Урядник, высморкавшись и незаметно вытирая пальцы о подкладку мундира, начал речь:

– Теперя вы уже не ребята, а казаки. Присягнули и должны знать за собой, что и к чему. Теперича вы произросли в казаков, и должны вы честь свою соблюдать, отцов-матерей слушать и все такое прочее. Были ребятами – дураковали, небось, на дороге чурбаки тягали, а после этого должны подумать о дальнейшей службе. Вот через год идтить вам в действительную. – Тут урядник сморкнулся опять, стряхнул с ладони содержимое и, натягивая на руку пышную, из кроличьего пуха, перчатку, закончил: – И должен ваш отец-мать подумакивать об справе. Чтob коня строевого приобрести, ну и вообще... А теперича с богом, молодцы, по домам!

Григорий с Митькой дождались у моста хуторных ребят, вместе тронулись в дорогу. Шли вдоль берега. Над хутором Базки таял трубный дым, тонко отзванивал колокол. Митька хромал позади всех, опираясь на суковатый выломанный кол.

– Разуйся, – посоветовал один из ребят.

– Ногу обморожу, – приотставая, заколебался Митька.

– В чулке пойдешь.

Митька сел на снег, с усилием стянул с ноги сапог. Пошел, припадая на разутую ногу. На хрушком снегу дороги ясно печатался след вязанного крючком толстого чулка.

– Какой дорогой пойдём? – спросил низенький, чурбаковатый Алексей Бешняк.

– Над Доном, – за всех ответил Григорий.

Шли, переговариваясь, толкая один другого с дороги.

По уговору валяли в сугроб каждого и давили, наваливаясь кучей. Между Базками и Громковским хутором Митька первый увидел перебивавшегося через Дон волка.

– Ребята, бирюк – вон он!.. Тю!..

– А-лю-лю-лю-лю-лю!..

– Ух!..

Волк ленивой перевалкой пробежал несколько сажень и стал боком, неподалеку от того берега.

– Узы его!..

– Га!..

– Тю, проклятый!..

– Митрий, это он на тебя дивуется, что ты в чулке идешь.

– Ишь стоит боком, ожерелок не позволяет.

– Он вязы не скрутит.

– Гля, гля, пошел!..

Серый, как выточенный из самородного камня, стоял зверь, палкой вытянув хвост. Потом торопко скакнул в сторону и затрусил к талам, окаймлявшим берег.

Смеркалось, когда добрались до хутора. Григорий по льду дошел до своего проулка, поднялся к воротцам. Во дворе стояли брошенные сани; в куче хвороста, наваленного возле плетня, чулюкали воробы. Тянуло жильем, пригоревшей сажей, парным запахом скотиньего база.

Поднимаясь на крыльцо, Григорий взглянул в окно. Тускло желтила кухню висячая лампа, в просвете стоял Петро, спиной к окну. Григорий обмел сапоги веником, вошел в облаке пара в кухню.

– Вот и я. Ну, здорово живете.

– Скоро ты. Небось, прозяб? – отозвался суетливо и поспешно Петро.

Пантелей Прокофьевич сидел, облокотившись на колени, опустив голову. Дарья гоняла ногой жужжащее колесо прялки. Наталья стояла у стола к Григорию спиной, не поворачиваясь. Кинув по кухне беглый взгляд, Григорий остановил глаза на Петре. По лицу его, беспокойно выжидающему, понял: что-то случилось.

– Присягнул?

– Ага!

Григорий раздевался медленно, выигрывая время, быстро перебирая в уме возможные случайности, виною которых эта тишина и холодноватая встреча.

Из горницы вышла Ильинична, и на ее лице лежала печать некоторого смятения.

«Наталья», – подумал Григорий, садясь на лавку рядом с отцом.

– Собери ему повечерять, – обратилась Ильинична к Дарье, указывая глазами на Григория.

Дарья оборвала прялочную песню, пошла к печке, неуловимо поводя плечами, всем своим тонким небабым станом. В кухне пригlohла тишина. Возле подзёмки, посапывая, грелись недавно окотившаяся коза с козленком.

Григорий, хлебая щи, изредка взглядывал на Наталью, но лица ее не видел: она сидела к нему боком, низко опустив над вязальными спицами голову. Пантелей Прокофьевич первый не выдержал общего молчания; кашлянул скрипуче и деланно, сказал:

– Наталья вот собирается уходить.

Григорий собирал хлебным катышком крошки, молчал.

– Это через чего? – спросил отец, заметно подрагивая нижней губой (первый признак недалекой вспышки бешенства).

– Не знаю через чего. – Григорий прижмурил глаза и, отодвинув чашку, встал, крестясь.

– А я знаю!.. – повысил голос отец.

– Не шуми, не шуми, – вступилась Ильинична.

– А я знаю через чего!..

– Ну, тут шуму заводить нечего. – Петро подвинулся от окна на середину комнаты. – Тут дело полюбовное: хочет – живет, а не хочет – ступай с богом.

– Я ее не сужу. Хучь и страмно и перед богом грех, а я не сужу: не за ней вина, а вот за этим сукиным сыном!.. – Пантелей Прокофьевич указал на прислонившегося к печке Григория.

– Кому я виноват?

– Ты не знаешь за собой?.. Не знаешь, чертяка?..

– Не знаю.

Пантелей Прокофьевич вскочил, повалив лавку, и подошел к Григорию вплотную. Наталья выронила чулок, тренькнула выскочившая спица; на звук прыгнул с печи котенок, избочив голову, согнутой лапкой толкнул клубок и покати́л его к сундуку.

– Я тебе вот что скажу, – начал старик сдержанно и раздельно. – Не будешь с Наташкой жить – иди с базу, куда глаза твои глядят! Вот мой сказ! Иди, куда глаза глядят! – повторил он обычным спокойным голосом и отошел, поднял лавку.

Дуняшка сидела на кровати, зиркала круглыми, напуганными глазами.

– Я вам, батя, не во гнев скажу, – голос Григория был дребезжаще-глух, – не я женился, а вы меня женили. А за Натальей я не тянусь. Хочет, нехай идет к отцу.

– Иди и ты отсель!

– И уйду.

– И уходи к чертовой матери!..

– Уйду, уйду, не спеши! – Григорий тянул за рукав брошенный на кровати полушубок, раздувая ноздри, дрожа в такой же кипящей злобе, как и отец.

Одна, сдобренная турецкой примесью, текла в них кровь, и до чудного были они схожи в этот момент.

– Куда ты пой-де-ошь? – застонала Ильинична, хватая Григория за руку, но он с силой оттолкнул мать и на лету подхватил упавшую с кровати папаху.

– Нехай идет, кобелина поблудный! Нехай, будь он проклят! Иди, иди, ступай!.. – гремел старик, настежь распахивая двери.

Григорий выскочил в сенцы, и последнее, что он слышал, – Натальин плач в голос.

Морозная крыла хутор ночь. С черного неба падала иглистая пороша, на Дону раскатисто, пушечными выстрелами лопался лед. Григорий выбежал за ворота, задыхаясь. На другом краю хутора разноголосо брехали собаки, прорешеченная желтыми огоньками дымилась тьма.

Бесцельно зашагал Григорий по улице. В окнах Степанова дома алмазно отсвечивала чернота.

– Гриша! – кинулся от ворот тоскующий Натальин вскрик.

«Пропали ты, разнелюбая!» – Григорий скрипнул зубами, ускоряя шаги.

– Гриша, вернись!

В первый переулок направил Григорий пьяные свои шаги, в последний раз услышал придавленный расстоянием горький оклик:

– Гришенька, родимый!..

Быстро пересек площадь, на развилке дорог остановился, перебирая в уме имена знакомых ребят, у кого можно было бы переночевать.

Остановился на Михаиле Кошевом. Жил тот на отшибе, у самой горы; мать, сам Михаил, сестра-девка да двое братишек – вся семья. Вошел во двор, постучался в крохотное окошко саманной хаты.

– Кто такой?

– Михаил дома?

– Дома. А это кто?

– Это я, Григорий Мелехов.

Через минуту, оторванный от первого сладкого сна, Михаил открыл дверь.

– Ты, Гриша?

– Я.

- Чего ты по ночам?
- Пусти в хату-то, там погутарим.

В сенях Григорий схватил Михаила за локоть; злобясь на себя за то, что не хватало нужных слов, прошептал:

- Я у тебя заночую... С своими поругался... У тебя как, тесно?.. Ну, да я где-нибудь.
- Место найдется, проходи. За что вы сцепились?
- Э, брат... потом... Где тут дверь у вас? Не вижу.

Григорию постелили на лавке. Лег, с головой кутаясь полушубком, чтобы не слышать шепота Михайловой матери, спавшей на одной кровати с дочерью.

«Как теперь дома? Уйдет Наташка, нет ли? Ну, по-новому стелется жизнь. Куда прислониться?» И быстро подсказывала догадка: «Покличу завтра Аксиныю, уйдем с ней на Кубань, подальше отсель... далеко, далеко...»

Уплывали перед закрытыми глазами Григория степные гребни, хутора, станицы, никогда раньше не виданные, чужие сердцу. А за валами гребней, за серой дорогой – сказкой голубая приветливая сторона и Аксинына, в позднем, мятежном цвету, любовь на придачу.

Уснул, встревоженный надвигавшимся неведомым. Перед сном тщетно старался припомнить что-то гнетущее в мыслях, несловленное. Шли в полусне думы гладко и ровно, как баркас по течению, и вдруг натыкались на что-то, будто на мель; муторно становилось, не по себе; ворочался, бился в догадках: «Что же? Что такое поперек дороги?»

А утром проснулся и вспомнил: «Служба! Куда же мы пойдем с Аксюткой? Весной – в лагерь, а осенью на службу... Вот она, зацепа».

Позавтракал и вызвал Михаила в сенцы.

- Сходи, Миша, к Астаховым. Перекажи Аксинье, чтоб, как завечереет, вышла к ветряку.
- А Степан? – замылся было Михаил.
- Придумай, как будто за делом.
- Схожу.
- Иди. Мол, непременно пушай выйдет.
- Ладно уж.

Вечером сидел под ветряком, курил в рукав. За ветряком в сухих кукурузных будылях, спотыкаясь, сипел ветер. На причаленных крыльях хлопало оборванное полотно. Казалось Григорию, будто над ним кружит, хлопая крыльями, и не может улететь большая птица. Аксиныя не шла. На западе в лиловой тусклой позолоте лежал закат, с востока, крепчая, быстрился ветер, надвигалась, перегоняя застрявшую в вербах луну, темень. Рудое, в синих подтеках, трупно темнело над ветряком небо; над хутором – последыши суетного дневного гомона.

Григорий выкурил подряд три сигарки, воткнул в примятый снег последний окурочек, огляделся в злобной тоске. Притаявшие проследки от ветряка к хутору дегтярно чернели. От хутора никого не видно. Григорий встал; хрустнув плечами, потянулся и пошел на огонь, зазывно мигавший в оконце Михайловой хаты. Подходил ко двору, насвистывая сквозь зубы, и почти в упор столкнулся с Аксиной. Бежала, как видно, или торопко шла, запыхалась, и пахло от свежего, нахолодевшего рта то ли ветром, то ли далеким, еле уловимым запахом свежего степного сена.

- Заждался, думал – не придешь.
- Степана насилушки выпроводила...
- Ты меня заморозила, окаянная баба!
- Я горячая, погрею. – Распахнула опушенные полы донской шубы, обвилась вокруг Григория, как хмель вокруг дуба. – Чего кликал?
- Погоди, прими руки... Тут люди ходят.
- С своими, никак, поругался?
- Ушел. Сутки вот у Мишки... Живу, как приبلудная собака.

– Как же ты теперича? – Аксинья разжала обнимавшие Григория руки и зябко запахла полы шубы. – Давай, Гриша, к плетню отойдем. Что же так-то посередь дороги?

Отошли. Григорий, разметав сугроб, прислонился к промерзшему трескучему плетню спиной.

– Не знаешь, ушла к своим Наталья?

– Не знаю... Уйдет, должно. А то будет тут жить?

Григорий просунул иззябшую руку Аксиньи себе в рукав; сжимая пальцами узкую ее кисть, спросил:

– Как же будем?

– Я, миленький, не знаю. Как ты, так и я.

– Бросишь Степана?

– И не охну. Хучь зараз.

– Где-нибудь наймемся обое, будем жить.

– Хучь под скотину я с тобой, Гриша... Лишь бы с тобой.

Постояли, греясь общим теплом. Григорий не хотел идти, стоял, повернув голову на ветер, вздрагивая ноздрями, не поднимая смеженных век. Аксинья, уткнувшись лицом ему под мышку, дышала таким родным, пьянящим запахом его пота, и на губах ее, порочно-жадных, скрытая от глаз Григория, дрожала радостная, налитая сбывшимся счастьем улыбка.

– Завтра дойду до Мохова, может, у него наймусь, – проговорил Григорий, перехватывая повыше запотевшую в пальцах кисть Аксиньиной руки.

Аксинья промолчала. Не подняла головы. Недавнюю улыбку с губ ее как ветер слизал, в расширенных глазах загнанным зверьком томились тоска и испуг. «Сказать или не сказать?» – думала она, вспомнив про свою беременность. «Надо сказать», – решила было, но сейчас же, дрогнув от испуга, отогнала страшную мысль. Женским своим чутьем угадала, что не время об этом говорить, поняла, что можно навек потерять Григория, и, сомневаясь, от кого из двух зачала ворохнувшегося под сердцем ребенка, слукавила душой: не сказала.

– Чего дрогнула? Озябла? – спросил Григорий, кутая ее полрой полушубка.

– Озябла трошки... Идти надо, Гриша. Придет Степан, кинется, а меня нету.

– Он где пошел?

– Насилушки спровадила к Аникею в карты играть.

Разошлись. На губах Григория остался волнующий запах ее губ, пахнувших то ли зимним ветром, то ли далеким, неуловимым запахом степного, вспрыснутого майским дождем сена.

Аксинья свернула в проулок; пригибаясь, почти побежала. Против чьего-то колодца, там, где скотина взмеси́ла осеннюю грязь, неловко оступилась, скользнув ногой по обмерзшей кочке, и, почувствовав резную боль в животе, схватилась за колья плетня. Боль утихла, а в боку что-то живое, переворачиваясь, стукнуло гневно и сильно, несколько раз подряд.

ХІ

Наутро Григорий отправился к Мохову в дом. Сергей Платонович пришел из магазина к чаю. Сидел с Атепиным в столовой, оклеенной дорогами, под дуб, обоями, цедил крепкий, бордовый чай. Григорий в передней положил шапку, вошел в столовую.

– Я к вам, Сергей Платонович.

– А, Пантелея Мелехова сынок, кажется.

– Его.

– Тебе чего?

– Хотел просить, не наймете ли в работники?

Григорий повернул голову на скрип двери. Из зала вышел со сложенной вчетверо газетой молодой офицер в зеленом кителе, с погонами сотника. Григорий узнал в нем того офицера, которого обогнал в прошлом году на скачках Митька Коршунов.

Подвигая офицеру стул, Сергей Платонович сказал:

– Что, аль обеднял отец, что сына нанимает?

– Я с ним не живу.

– Отделился?

– Да.

– С радостью взял бы, знаю вашу семью, работающий народ, да места у меня нет.

– В чем дело? – спросил сотник, подсаживаясь к столу и поглядывая на Григория.

– В работники парень нанимается.

– За лошадьми можешь ухаживать? Правишь хорошо дышловой запряжкой? – спросил сотник, мешая ложечкой в стакане.

– Могу. Своих лошадей шесть штук держали.

– Мне нужен кучер. Условия твои?

– Я не дорого прошу...

– В таком случае приходи завтра к отцу в имение. Знаешь, где имение Листницкого Николая Алексеевича?

– Так точно, знаю.

– Отсюда верст двенадцать. Приходи завтра с утра, договоришься там.

Григорий потоптался на месте и, уже держась за дверную ручку, сказал:

– Мне бы на-часок, ваше благородие, сказать вам...

Сотник вышел следом за Григорием в полутемный коридор.

Сквозь матовые стекла с террасы скупно сочился розовый свет.

– В чем дело?

– Я не один... – Григорий густо покраснел. – Со мной баба. Может, и ей место какое выйдет?

– Жена? – спросил сотник, улыбаясь, поднимая розовые от света брови.

– Чужая жена...

– Ах, вон как. Ну что ж, устроим и ее черной стряпухой. А муж ее где?

– Тут, хуторной.

– Ты, что же, похитил у мужа жену?

– Сама приبلудилась.

– Романтическая история. Ну, хорошо, приходи завтра. Можешь быть свободен, братец.

Григорий пришел в Ягодное – имение Листницких – часов в восемь утра. По большому двору, обнесенному кирпичной облупленной оградой, нескладно раскинулись дворовые постройки: флигель под черепичной крышей, с черепичной цифрой посередине – 1910 год, людская, баня, конюшня, птичник и коровник, длинный амбар, каретник. Дом большой, старый, огороженный со стороны двора палисадником, ютился в саду. За домом серою стеною стояли оголенные тополя и вербы левады в коричневых шапках покинутых грачиных гнезд.

Григория встретила за двором ватага крымских черных борзых. Старая хромая сука, со слезящимся старушечьим взглядом, первая обнюхала Григория, пошла следом, понутив сухую голову. В людской кухарка ругалась с молоденькой веснушчатой горничной. В табачном дыму, как в мешке, сидел у порога старый губатый человечина. Григория горничная провела в дом. В передней воняло псиной и неподсохшими звериными шкурами. На столе валялся чехол от двустволки и ягдташ с истрепанными зелеными шелковыми махрами.

– Молодой барин зовет к себе. – Из боковых дверей выглянула горничная.

Григорий опасливо оглядел свои грязные сапоги, шагнул в дверь.

На кровати, стоявшей под окном, лежал сотник; на одеяле – коробка с гильзами и табаком. Начинив папиросу, сотник застегнул ворот белой сорочки, сказал:

– Рано ты. Подожди, сейчас отец придет.

Григорий стал у двери. Через минуту по скрипучему полу передней зашаркали чьи-то шаги. Густой низкий бас спросил в дверную щель:

– Не спишь, Евгений?

– Входите.

Вошел старик в черных кавказских бурках. Григорий глянул на него сбоку, и первое, что ему кинулось в глаза, – это тонкий покривленный нос и белые, под носом желтые от курева, широкие полудуги усов. Старик был саженого роста, плечист и худ. На нем дрябло обвисал длинный верблюжьего сукна сюртук, воротник петлей охватывал коричневую, в морщинах, шею. Ближе к переносице сидели выпуклые глаза.

– Вот, папа, кучер, которого я вам рекомендую. Парень из хорошей семьи.

– Чей это? – бухнул старик раскатом гудящего голоса.

– Мелехова.

– Которого Мелехова?

– Пантелея Мелехова сын.

– Прокофия знал, Пантелея тоже знаю. Хромой такой, из черкесов?

– Так точно – хромой. – Григорий тянулся струною.

Он помнил рассказы отца об отставном генерале Листницком – герое русско-турецкой войны.

– Почему нанимаешься? – грохотало сверху.

– Не живу с отцом, ваше превосходительство.

– Какой же из тебя будет казак, ежели ты наймитом таскаешься? Отец, отделяя тебя, разве ничего не дал?

– Так точно, ваше превосходительство, не дал.

– Тогда другое дело. Ты с женой нанимаешься?

Сотник резко скрипнул кроватью. Григорий повел глазами, увидел – сотник моргает, дергает головой.

– Так точно, ваше превосходительство.

– Безо всяких превосходительств. Не люблю! Цена – восемь рублей в месяц. Это обоим. Жена будет стряпать на дворовых и сезонных рабочих. Согласен?

– Так точно.

– Чтоб были в имении завтра же. Займешь в людской ту половину, в которой жил прежний кучер.

– Как ваша вчерашняя охота? – спросил сын у старика и опустил на коврик узкие ступни.

– Выгнали из Гремячего лога лисовина, гнали до леса. Старый попался, обманул собак.

– Казбек все хромает?

– У него, как оказалось, вывих. Ты поскорей, Евгений, завтрак стынет.

Старик повернулся к Григорию, щелкнул сухими, костлявыми пальцами.

– Шагом – марш! Завтра к восьми часам чтобы был здесь.

Григорий вышел за ворота. У заднего фасада амбара борзые грелись на подсохшей от снега земле. Старая сука со старушечьим взглядом затрусила к Григорию, обнюхала его сзади и провожала до первой балки, понуро опустив голову, ступая шаг в шаг. Потом вернулась.

ХII

Аксинья отстряпалась рано, загребла жар, закутала трубу и, перебив посуду, выглянула в оконце, глядевшее на баз. Степан стоял возле слег, сложенных костром у плетня к мелехов-

скому базу. В уголке твердых губ его висела потухшая сигарка; он выбирал из костра подходящую соху. Левый угол сарая завалился, надо было поставить две прочные сохи и прикрыть оставшимся камышом.

С утра на верхушках Аксиньиных скул – румянец, в молодом блеске глаза. Не укрылась перемена от Степана; завтракая, спросил:

– Ты чего?

– А чего я? – Аксинья вспыхнула.

– Блестишь, будто постным маслом намазанная.

– От печи жарко... в голову кинулось. – И, отвернувшись, глазами воровато шмыгнула в окно: не идет ли Мишки Кошевого сестра?

Та пришла только перед сумерками. Вымученная ожиданием, Аксинья встрепенулась:

– Ты ко мне, Машутка?

– Выдь на-час.

Степан перед осколком зеркала, вмазанного в выбеленную грудину печи, зачесывал чуб, гладил куцей расческой из бычачьего рога каштановые усы.

Аксинья опасливо глянула в сторону мужа:

– Ты, никак, куда-то собираешься?

Степан ответил не сразу, положил расческу в карман шаровар, взял из печурки колоду карт и кист.

– К Аникушке пойду, посижу трошки.

– И когда ты находишься? Искоренили карты: что ни ночь, то им игра. До кочетов про-сигивают.

– Но, будя, слышали.

– Опять в очко будешь играть?

– Отвяжись, Аксютка. Вон человек ждет, иди.

Аксинья боком вышла в сенцы. У входа встретила ее улыбкой румяная, в заседе веснушек, Машутка.

– Пришел ить Гришка. – Ну?

– Переказывал, чтоб, как затемнеет, шла к нам.

Аксинья, хватая Машуткины руки, теснила ее к двери.

– Тише, тише, любушка. Что ж он, Маша? Может, ишо чего велел сказать?

– Гутарит, чтоб забрала свое, что унесешь.

Аксинья, вся в огне и дрожи, вертела головой, поглядывая на двери, переступая с ноги на ногу.

– Господи, как же я?... А?... Так-то скорочко... Ну, что я? Погоди, скажи ему, что я скоро... А где он меня перевстренет?

– Заходи в хату.

– Ох, нет!...

– Ну, ничего, я скажу ему, он выйдет.

Степан надел сюртук, тянулся к висячей лампе, прикуривая.

– Чего она прибежала? – спросил между двумя затяжками.

– Кто?

– Да Машка Кошевых.

– А, это она по своему делу... юбку просила скроить.

Сдувая с сигарки черные хлопья пепла, Степан пошел к двери...

– Ты ложись, не жди!

– Ну-ну.

Аксинья припала к замороженному окну, опустила перед лавкой на колени. По стежке, протоптанной к калитке, закрипели шаги уходящего Степана. Ветром схватило искорку

цигарки и донесло до окна. В оттаявший кружок стекла Акси́нья на минуту увидела при свете пламенеющей сигарки полукруг придавившей хрящеватое ухо папахи, смуглую щеку.

В большой шалевый платок лихорадочно кидала из сундука юбки, кофточки, полушалки – девичье свое приданое, – задыхаясь, с растерянными глазами, в последний раз прошлась по кухне и, загасив огонь, выбежала на крыльцо. Из мелеховского дома кто-то вышел на баз проведать скотину. Акси́нья дождалась, пока заглохли шаги, накинула на дверной пробой цепку и, прижимая узел, побежала к Дону. Из-под пухового платка выбились пряди волос, щекотали щеки. Дошла задами до двора Кошевых – обессилела, с трудом переставляла зачугуневшие ноги. Григорий ждал ее у ворот. Принял узел и молча первым пошел в степь.

За гумном Акси́нья, замедляя шаги, тронула Григория за рукав:

– Погоди чудок.

– Чего годить? Месяц взойдет не скоро, надо поспешать.

– Погоди, Гриша. – Акси́нья, сгорбившись, стала.

– Ты чего? – Григорий наклонился к ней.

– Так... живот чтой-то. Чижелое нады подняла. – Облизывая спекшиеся губы, жмурясь от боли до огненных брызг в глазах, Акси́нья схватила за живот. Постояла немного, согнутая и жалкая, и, заправляя под платок пряди волос, тронулась. – Ну, все, пойдем!

– Ты и не спросишь, куда я тебя веду... Может, до первого яра, а там спихну? – улыбнулся в темноту Григорий.

– Все одно уж мне. Доигралась. – Голос Акси́ньи звякнул невеселым смехом...

Степан в эту ночь вернулся, как всегда, в полночь. Зашел в конюшню, кинул в ясли наметанное конем под ноги сено, снял недоуздок и поднялся на крыльцо. «Должно, ушла на посылки», – подумал, скидывая с пробоя цепку. Вошел в кухню, плотно притворил дверь, зажег спичку. Был он в выигрыше (играли на спички), оттого мирен и сонлив. Засветил огонь и, не догадываясь о причине, оглядел в беспорядке разбросанные по кухне вещи. Слегка удивленный, прошел в горницу. Темной пастью чернел раскрытый сундук, на полу лежала старенькая, забытая впопыхах жена кофтенка. Степан рванул с плеч полушубок, кинулся в кухню за огнем. Оглядел горницу – понял. Швырком кинул лампу, не отдавая себе ясного отчета в том, что делает, рванул со стены шашку, сжал эфес до черных отеков в пальцах, – подняв на конце шашки голубенькую, в палевых цветочках, позабытую Акси́нину кофтенку, подкинул ее кверху и на лету, коротким взмахом, разрубил пополам.

Посеревший, дикий, в волчьей своей тоске, подкидывал к потолку голубенькие искромсанные шматочки; повизгивающая отточенная сталь разрубала их на лету.

Потом, оборвав темляк, кинул шашку в угол, ушел в кухню и сел за стол. Избочив голову, долго гладил дрожащими железными пальцами невымытую крышку стола.

XIII

Беда в одиночку сроду не ходит: утром, по недогляду Гетька, племенной бугай Мирона Григорьевича распорол рогом лучшей кобылице-матке шею. Гетько прибежал в курень белый, растерянный, била его трясучка.

– Беда, хозяин! Бугай, шоб вин сдох, проклятый бугай...

– Чего бугай? Ну? – встревожился Мирон Григорьевич.

– Кобылу спортил... пырнул рогом... я кажу...

Мирон Григорьевич раздетый выскочил на баз. Возле колодца Митька утюжил колом красного пятилетка-бугая. Тот, пригибая к земле морщинистый подгрудок, волоча его по снегу, крутил низко опущенной головой, далеко назад кидал ногою снег, рассевая вокруг спиралью скрученного хвоста серебряную пыль. Он не бежал от побоев, лишь глухо взмыкивал, перебирал задними ногами, как перед прыжком.

В горле его ширился, рос клопочущий рев. Митька бил его по морде, по бокам, в хрипе безобразной ругани, не обращая внимания на Михея, который тянул его сзади за ремень.

– Отступись, Митрий!.. Христом-богом прошу!.. Забрухает он тебя!.. Григорич, да чего ж ты глядишь?..

Мирон Григорьевич бежал к колодцу. У плетня, понуро свесив голову, стояла кобылица. Запотевшие у кострецов впадины, черные и глубокие, ходили в дыханье, с шеи на снег и на круглые шишки грудных мускулов текла кровь. Мелкая дрожь волнила светло-гнедую шерсть на спине и боках, сотрясая пахи.

Мирон Григорьевич забежал наперед. На шее, разваленной пополам, дымилась в розовом рана. Глубокий, хоть ладонь суй, длинный порез, обнаженное коленчатое горло в судороге дыханья. Мирон Григорьевич сжал в кулаке челку, потянул вверх опущенную голову кобылицы. Прямо в глаза хозяину направила она мерцающий фиолетовый зрачок, будто спросила: «Что же дальше?» И на немой вопрос крикнул Мирон Григорьевич:

– Митька! Дубовую кору вели обдать. А ну, торопись!

Гетько, сотрясая в беге треугольный на грязной шее кадык, побежал драть с дуба кору. Митька подошел к отцу, оглядываясь на кружившего по двору бугая. Красный, на талой белени снежища, колесил тот по двору, изрыгая прорвавшийся безостановочный рев.

– Держи за чуб! – приказал Митьке отец. – Михей, беги за бечевкой! Скорей, морду побью!..

Бархатную, в редком волосе, верхнюю губу кобылицы закрутили веревкой на закрутке, чтоб не чужа боли. Подошел дед Гришака. Принесли в расписной чашке желудевого цвета отвар.

– Остуди, – горяч, небось. Слышишь аль нет, Мирон?

– Батя, идите в курени с богом! Простынете тут!

– А я велю остудить. Загубить хочешь матку?

Рану промыли. Мирон Григорьевич зяблыми пальцами вдевал в иглу-цыганку суровинку. Зашивал сам. Искусный лег на рану шов. Не успел Мирон Григорьевич отойти от колодца, из куреня прибежала Лукинична. Порожние сумки ее блеклых щек смяла тревога. Она отозвала мужа в сторону:

– Наталья пришла, Григорич!.. Ах, боже-е ты мой!

– Чего ишо?.. – взъерошился Мирон Григорьевич, бледнея конопинами белесого лица.

– С Григорием... ушел зятек из дому! – Лукинична раскрылилась, как грач перед взлетом, хлопнув руками по подолу, прорвалась на визг: – Страмы на весь хутор!.. Кормилец, господи, что за напастина!.. Ах! Ох!

Наталья в платке и куцей зимней кофтенке стояла посреди кухни. Две слезинки копились у переносицы, не падая. На щеках ее кирпичными плитами лежал румянец.

– Ты чего заявила? – напустился отец, влезая в кухню. – Муж побил? Не заладили?..

– Ушел он, – глотая сухмень рыдания, икнула Наталья и, мягко качнувшись, упала перед отцом на колени. – Батянюшка, пропала моя жизнь!.. Возьми меня оттель! Ушел Гришка с своей присухой!.. Одна я! Батянюшка, я как колесом перееханная!.. – часто залопотала Наталья, не договаривая концы слов, снизу моляще взглядывая в рыжую подпалину отцовской бороды.

– Постой, а ну, погоди!..

– Не из чего там жить! Заберите меня!.. – Наталья быстро переползла к сундуку и на ладони кинула дрогнувшую в плаче голову. Платок ее сбился на спину, гладко причесанные черные прямые волосы свисали на бледные уши. Плач в тяжелую минуту – что дождь в майскую засуху; мать прижала к впалому животу Натальину голову, причитая нескладное, бабье, глупое; а Мирон Григорьевич, распалясь, – на крыльцо.

– Запрягай в двое саней!.. В дышловые!..

Петух, деловито топтавший у крыльца курицу, – испуганный громким зыком, прыгнул с нее и враскачку заковылял подалее от крыльца, к амбарам, квохча и негодуя.

– Запрягай!.. – Мирон Григорьевич крушил сапогами резные балясины у крыльца и только тогда ушел в курень, оставив безобразно выщербленные перила, когда Гетько на рысях вывел из конюшни пару вороных, на ходу накидывая хомуты.

За Натальиным имуществом поехали Митька с Гетьком. Украинец в рассеянности спшиб санями не успевшего убраться с дороги поросенка, думая про свое: «Мабуть, за цим дилом забудэ хозяин об кобыли?» И радовался, ослаблял вожжи.

«Такий вредный чертяка, як раз забудэ!..» – настигала мысль, и Гетько, хмурясь, кривил губы:

– Прыгай, чортобис!.. Ось я тобі! – и сосредоточенно норовил щелкнуть кнутом вороного под то самое место, где ёкала селезенка.

XIV

Сотник Евгений Листницкий служил в лейб-гвардии Атаманском полку. На офицерских скачках разбился, переломил в предплечье левую руку. После лазарета взял отпуск и уехал в Ягодное к отцу на полтора месяца.

Старый, давно овдовевший генерал жил в Ягодном одиноко. Жену он потерял в предместье Варшавы в восьмидесятых годах прошлого столетия. Стреляли в казачьего генерала, попали в генеральскую жену и кучера, изрешетили во многих местах коляску, но генерал уцелел. От жены остался двухлетний тогда Евгений. Вскоре после этого генерал подал в отставку, перебрался в Ягодное (земля его – четыре тысячи десятин, – нарезанная еще прадеду за участие в Отечественной войне 1812 года, находилась в Саратовской губернии) и зажил чернотелой, суровой жизнью.

Подросткового Евгения отдал в кадетский корпус, сам занялся хозяйством: развел племенной скот, с императорского завода купил на племя рысистых производителей и, скрещивая их с лучшими матками из Англии и с донского Провальского завода, добился своей породы. Держал на своей казачьей паевой и купленной земле табуны, сеял – чужими руками – хлеб, зимой и осенью охотился с борзыми, изредка, запираясь в белом зале, пил неделями. Точила его злая желудочная болезнь, и по строжайшему запрету врачей не мог он глотать пережеванную пищу; жевал, вытягивал соки, а жевки выплевывал на серебряную тарелочку, которую сбоку, на вытянутых руках, постоянно держал молодой, из мужиков, лакей Вениамин.

Был Вениамин придурковат, смугл, на круглой голове – не волосы, а черный плюш. Служил у пана Листницкого шесть лет. Вначале, когда припало стоять над генералом с серебряной тарелочкой, не мог без тошноты глядеть, как старик выплевывает серые, измочаленные зубами жевки, потом привык.

В имении из дворни, кроме Вениамина, жили: кухарка Лукерья, одряхлевший конюх Сашка, пастух Тихон, поступивший на должность кучера Григорий и Аксинья. Рыхлая, рябая, толстозадая Лукерья, похожая на желтый ком невсхожего теста, с первого же дня отшила Аксинью от печи.

– Стряпать будешь, когда рабочих на лето наймет пан, а сейчас я сама управлюсь.

На обязанности Аксиньи лежало три раза в неделю мыть в доме полы, кормить гурты птицы и содержать птичий двор в чистоте. Она ретиво взялась за службу, всем стараясь угождать, не исключая и Лукерью. Григорий большую часть времени проводил в просторной рубленой конюшне вместе с конюхом Сашкой. До сплошных седин дожил старик, но Сашкой так и остался. Никто не баловал его отчеством, а фамилии, наверное, не знал и сам старый Листницкий, у которого жил Сашка больше двадцати лет. В молодости Сашка кучеровал, но под исход жизни, теряя силу и зрение, перешел в конюхи. Низенький, весь в зеленой седине (на руках

и то рос седой волос), с носом, расплюснутым еще в детстве ударом чекмаря, вечно улыбался он голубой детской улыбкой, мигая на окружающее простодушными, в красных складках, глазами. Портили его апостольское лицо нос курносый, с веселинкой, да изуродованная стекающим книзу шрамом нижняя губа. Под пьянку в солдатчину (родом Сашка был из богучарских москалей) вместо простой водки хватил он из косухи «царской водки»: огненная струйка и пришила ему нижнюю губу к подбородку. Там, где пролилась эта струйка, остался не зарастающий волосом розовый и веселый косой шрам, будто неведомый зверек лизнул Сашку в бороду, положив след тонюсенького напильчатого языка. Сашка часто баловался водкой, в такие минуты бродил по двору имения – сам хозяин, – шпаклюя ногами, становился против окон панской спальни и хитро крутил пальцем перед веселым своим носом.

– Миколай Лексеич! А Миколай Лексеич? – звал он громко и строго.

Старый пан, если был в эту минуту в спальне, подходил к окну.

– Нажрался, пустяковая твоя душа? – гремел он из окна.

Сашка поддегивал спадавшие портки, подмигивал, шельмовато улыбался. Улыбка вытанцовывалась у него наискось через все лицо: от прижмуренного левого глаза до розового шрама, стекавшего из правого угла рта. Поперечная была улыбка, но приятная.

– Миколай Лексеич, ваше преподобие, я тебя зна-а-аю!.. – И Сашка, приплясывая, грозил торчмя поднятым, тонким и грязным пальцем.

– Поди проспись, – примиряюще улыбался из окна пан, всей обкуренной пятерней закручивая нависшие усы.

– Черт Сашку не ом-манет! – смеялся Сашка, подходя к палисаднику. – Миколай Лексеич, ты... как и я. Мы с тобой как рыба с водой. Рыба на дно, а мы... на гумно. Мы с тобой богатые, во!.. – Сашка, корячась, широко расплескивал руки. – Нас все знают, по всей Донской области. Мы... – голос Сашки становился печален и вкрадчив, – мы с тобой, ваше превосходительство, всем хороши, только вот носы у нас говенные!

– Чем же? – любопытствовал пан, сизея от смеха и шевеля усами и подусниками.

– Через водку, – отчеканивал Сашка, часто моргая и слизывая языком слюну, сползавшую по каналцу розового шрама. – Ты, Миколай Лексеич, не пей. А то вовзят пропадем мы с тобой! Проживем все дотла!..

– Поди вот, похмелись.

Пан кидал в окно двугривенный. Сашка ловил на лету, прятал за подкладку картуза.

– Ну, прощай, генерал, – вздыхал он, уходя.

– А лошадей-то поил? – заранее улыбаясь, спрашивал пан.

– Черт паршивый! Ать сукин сын! – багровея, орал Сашка ломким голосом. Гнев трепал его лихорадкой. – Сашка чтоб лошадей забыл напоить? А? Умру – и то приползу по цебарке кринишной дать, а он, ать, придумал!.. Тоже!..

Сашка уходил, облитый незаслуженной обидой, матерясь и грозя кулаками. Сходило ему все: и пьянка, и панибратское обращение с паном; оттого сходило, что был Сашка незаменимый конюх. Зимой и лето спал он в конюшне, в порожнем станке; никто лучше его не умел обращаться с лошадьми, был он и конюх и коновал: веснами в майском цветении рвал травы, выкапывал в степи, в суходолах и мокрых балках целебные корни. Высоко на стенках конюшни висели сушеные пучки разнолистной травы: яровик – от запала, змеиное око – от укуса гадюки, чернолист – от порчи ног, неприметная белая травка, растущая в левадах у корней верб, – от надрыва, и много других неведомых трав от разных лошадиных недугов и хвори.

В конюшне, в станке, где спал Сашка, зимой и лето паутинной занавесью висел тонкий, липнувший к горлу аромат. На дощатой кровати лежало прикрытое попоной, сбитое камнем сено и весь провонявший конским потом Сашкин зипун. Пожитков, кроме зипуна и дубленого полушубка, у Сашки не было.

Тихон, губатый, здоровенный и дурковатый казак, жил с Лукерьей, втихомолку беспричинно ревновал ее к Сашке. В месяц раз брал он Сашку за пуговицу просаленной рубахи и уводил на зады.

– Дед, ты на мою бабу не заглядывайся!

– Это как сказать... – Сашка многозначительно мигал.

– Отступись, дед! – просил Тихон.

– Я, дружок, рябых люблю. Мне шкалик не подноси, а рябую вынь да положь. Что ни дюжей ряба – дюжей нашего брата, шельма, любит.

– В твои годы, дед, совестно и грех... Эх ты, а ишо лекарь, лошадей пользуешь, святое слово знаешь...

– Я на все руки лекарь, – упорствовал Сашка.

– Отступись, дед! Нельзя так-то.

– Я, брат, эту Лукерью пристигну. Прощайся с ней, шельмой, отобью! Она – как пирог с изюмом. Только изюм-то повыковырянный, оттого будто ряба малость. Люблю таких!

– На вот... а под ноги не попадайся, а то убью, – говорил Тихон, вздыхая и вытягивая из кисета медяки.

Так каждый месяц.

В сонной одуре плесневела в Ягодном жизнь. Глухое, вдали от проезжих шляхов, лежало по суходолу имение, с осени глохла связь со станицей и хуторами. Зимой на бугор, упирившийся в леваду выпуклым песчаным мысом, ночами выходили волчьи выводки, зимовавшие в Черном лесу, выли, пугая лошадей. Тихон шел в леваду стрелять из панской двустволки, а Лукерья, кутая дерюжкой толстый – что печной заслон – зад, замирала, ожидая выстрела, всматриваясь в темноту заплывшими в жирных рябых щеках глазками. В это время представлялся ей дурной, плешивый Тихон красивым и отчаянно храбрым молодцом, и, когда хлопала дверь в людской, впуская дымящийся пар и Тихона, она теснилась на кровати и, воркуя, сладко обнимала назябшего сожителя.

Летом Ягодное допоздна гудело голосами рабочих. Сеял пан десятин сорок разного хлеба, рабочих нанимал убирать. Изредка летом наезжал в имение Евгений, ходил по саду и леваде, скучал. Утрами просиживал возле пруда с удочками. Был он невысок, полногруд. Носил чуб по-казачьи, зачесывая на правую сторону. Ловко обтягивал его офицерский сюртук.

Григорий в первые дни, как только поселился в имении с Аксиньей, часто бывал у молодого хозяина. В людскую приходил Вениамин; склоняя плюшевую голову, улыбался:

– Иди, Григорий, к молодому пану, велел позвать.

Григорий входил, становился у притолоки. Евгений Николаевич, щеря редкие широкие зубы, указывал рукой на стул:

– Садись.

Григорий садился на краешек.

– Как тебе нравятся наши лошади?

– Добрые кони. Серый дюже хорош.

– Ты его почаще проезжай. Смотри, намётом не гони.

– Мне дед Сашка толковал.

– А Крепыш как?

– Это гнедой-то? Цены не уставлю. Копыто вот защербил, перековать надо.

Молодой пан, шуря пронзительные серые глаза, спрашивал:

– Тебе ведь в лагери в мае идти?

– Так точно.

– Я поговорю с атаманом, не пойдешь.

– Покорнейше благодарю.

Молчали. Сотник, расстегнув воротник мундира, поглаживал женски белую грудь.

– Что ж, ты не боишься, что Аксиньин муж отнимет ее у тебя?

– Он от нее отказался, не отнимет.

– Кто тебе говорил?

– Ездил в станицу за ухналями, видал хуторного одного. Гутарит, збпил Степан втемную. «Мне, мол, Аксютка и за грош не нужна. Пушай, я себе похлеще сыщу».

– Аксинья – красивая баба, – говорил сотник, задумчиво глядя повыше Григорьевых глаз, блудя улыбкой.

– Баба ничего, – соглашался Григорий и хмурился.

Евгению кончался срок отпуска. Он мог уже свободно, без перевязки носить руку, поднимать, не сгибая в локте.

В последние дни он часто просиживал у Григория, в его половине людской. Аксинья чисто выбелила замшевшую в грязи комнату, отмыла наличники окон, выскребла битым кирпичом полы. Бабым уютом пахло в пустой веселой комнатке. Из подзёмки дышало жаром. Сотник, накинув синего сукна романовский полушубок, шел в людскую. Выбирал такое время, когда Григорий был занят с лошадьми. Приходил сначала на кухню, шутил с Лукерьей и, повернувшись, шел в другую половину. Садился у подзёмки на табуретке, остро сутулил спину, глядел на Аксинью бесстыдным улыбчивым взглядом. Аксинья терялась в его присутствии, дрожали в пальцах спицы, набиравшие петли чулка.

– Как живешь, Аксиньюшка? – спрашивал сотник, наводняя комнатушку синим папиросным дымом.

– Благодарствую.

Аксинья поднимала глаза и, встречаясь с прозрачным взглядом сотника, молчаливо говорившим о его желании, вспыхивала румянцем. Ей было досадно и неприятно глядеть в огоренные светлые глаза Евгения Николаевича. Она невпопад отвечала на разные пустяковые вопросы, норовила поскорее уйти.

– Пойду. Надо уткам зерна всыпать.

– Посиди. Успеешь, – улыбался сотник и дрожал ногами в плотно обтягивающих рейтузах.

Он подолгу расспрашивал Аксинью про ее прежнее житье, играл низкими нотками такого же, как и у отца, голоса, похабничал светлыми, как родниковая вода, глазами.

Управившись, Григорий приходил в людскую. Сотник гасил в глазах недавние огни, угощал его папиросой, уходил.

– Чего он сидел? – глухо, не глядя на Аксинью, спрашивал Григорий.

– А я почем знаю? – Аксинья, вспоминая взгляд сотника, деланно смеялась. – Пришел, сел вот туточка, гля-ка, Гришенька, вот так-то, – она показывала, как сидел сотник, похоже горбатил спину, – и сидит и сидит, ажник тошно, а коленка вострая-превострая.

– Примолвила, что ль, его? – Григорий зло шурился.

– Нужен он мне!

– То-то гляди, а то я его в одночасье спихну с крыльца.

Аксинья, улыбаясь, глядела на Григория и не могла понять, серьезно он говорит или шутит.

XV

На четвертой неделе поста сдала зима. На Дону бахромой легли окраинцы, ноздревато припух, поседел подтаявший сверху лед. Вечерами глухо гудела гора, по стариковским приметам – к морозу, а на самом деле – вплотную подходила оттепель. По утрам легкие ледозвонили заморозки, а к полудню земля отходила и пахло мартом, примороженной корой вишневых деревьев, прелой соломой.

Мирон Григорьевич исподволь готовился к пахоте, пополневшими днями возился под навесом сарая, тесал зубья к боронам, вместе с Гетьком делал два новых колесных стана. Дед Гришака говел на четвертой неделе. Приходил из церкви почерневший от холода, жаловался снохе:

- Заморил поп, никудышный служака, да-с, служит, как яишник с возом едет. Это беда!
- Вы бы, батя, на страстной неделе говели, все потеплеет к тому времени.
- Ты мне Наташку покличь. Пущай она чулки потолще свяжет, а в таких-то голопятах и серый бирюк с пару зайдется.

Наталя жила у отца, «как хохол на отживе»: ей все казалось, что Григорий вернется к ней, сердцем ждала, не вслушиваясь в трезвый нашепот разума; исходила ночами в жгучей тоске, крушилась, растоптанная неожиданной, незаслуженной обидой. А к этому прибавилось другое, и Наталя с холодным страхом шла к концу, ночами металась в своей девичьей горенке, как подстреленный чибис по ендовой куге. С первых дней по-иному стал поглядывать на нее Митька, а однажды, прихватив Наталию в сенцах, прямо спросил:

- Скучаешь по Гришке?
- А что тебе?
- Тоску твою хочу разогнать...

Наталя взглянула ему в глаза и ужаснулась в душе своей догадке. Играл Митька зелеными кошачьими глазами, маслено блеснул в темноте сеней разрезами зрачков. Наталя, хлопнув дверь, вскочила в боковушку к деду Гришаке и долго стояла, прислушиваясь к тревожному трепету сердца. На другой день после этого Митька подошел к ней на базу. Он метал скотине сено, и на прямых его волосах, на папахе шпанского меха висели зеленые травяные былки. Наталя отгоняла от свиного корыта увивавшихся собак.

- Ты не мордуйся, Наташка...
- Я бате зашумлю! – крикнула Наталя, закрываясь от него руками.
- Тю, сдурела!
- Уйди, проклятый!..
- Ну, чего шумишь?
- Уйди, Митька! Зараз пойду и расскажу бате!.. Какими ты глазами на меня глядишь? И-и-и, бесовестный!.. Как тебя земля держит!
- А вот держит и не гнется. – Митька в подтверждение топнул сапогами и подпер бока.
- Не лезь ко мне, Митрий!
- Зараз я и не лезу, а ночью приду. Ей-богу, приду.

Наталя ушла с база, содрогаюсь. Вечером постелила себе на сундуке, положила с собой младшую сестренку. Ночь проворочалась, горячечными глазами вклиниваясь в темноту. Шороха ждала, чтобы крикнуть на весь дом, но тишина нарушалась только сапом спящего рядом, за стенкой, деда Гришаки да редкими всхрапами разметающейся под боком сестры.

Отравленная бабьим неусыпным горем, разматывалась пряжа дней.

Митька, не изживший давнего своего позора со сватовством, ходил хмурый и злой. По вечерам уходил на игрища и редко приходил домой рано, все больше заря выкидывала. Путался с гулящими жалмерками, ходил к Степану играть в очко. Мирон Григорьевич до поры до времени молчал, приглядывался.

Как-то перед пасхой Наталя встретила около моховского магазина Пантелея Прокофьевича. Он окликнул ее первый:

- Погоди-ка на-часок.

Наталя остановилась. Затосковала, глянув на горбоносое, смутно напоминавшее Григория лицо свекра.

– Ты чего ж к старикам не заглянешь? – смущенно обегая ее глазами, заговорил старик, словно сам был виноват перед Натальей. – Баба там по тебе соскучилась: что да чего ты там... Ну, как живешь-можешь?

Наталья оправилась от безотчетного смущения.

– Спасибочко... – и, запнувшись (хотела назвать батей), смутившись, dokonчила: – Пантелей Прокофьевич.

– Что ж не наведаешься к нам?

– По хозяйству... работаю.

– Гришка наш, эх!.. – Старик горько закрутил головой. – Подковал он нас, стервец... Как ладно зажили было-к...

– Что ж, батя... – высоким, рвущимся голосом зазвенела Наталья, – не судьба, видать.

Пантелей Прокофьевич растерянно засутился, глянув в глаза Натальи, налитые слезами. Губы ее сводило, усилие держало слезы.

– Прощай, милушка!.. Ты не горюй по нем, по сукиному сыну, он ногтя твоего не стоит. Он, может, вернется. Повидать бы мне его, уж я доберусь!

Наталья пошла, вобрав голову в плечи, как побитая. Пантелей Прокофьевич долго топтался на одном месте, будто сразу хотел перейти на рысь. Наталья, заворачивая за угол, оглянулась: свекор хромал по площади, с силой налегая на костыль.

XVI

У Штокмана стали собираться реже. Подходила весна. Хуторцы готовились к весенней работе; лишь с мельницы приходили Валет с Давыдкой и машинист Иван Алексеевич. В страстной четверг перед вечером собрались в мастерской. Штокман сидел на верстаке, подчищая напильком сделанное из серебряного полтинника кольцо. В окно ложилась вязанка лучей закатного солнца. Розовый, с желтизной, лежал на полу пыльный квадрат. Иван Алексеевич крутил в руках клещи-кусачки.

– Надьсь был у хозяина, ходил толковать о поршне. Надо в Миллерово везть, там дадут ему рахунку¹⁴, а мы что же можем поделать? Трещина образовалась вот такая, – неизвестно кому показал Иван Алексеевич на мизинце размер трещины.

– Там ведь завод, кажется, есть? – спросил Штокман, двигая напильком, сея вокруг пальца тончайшую серебряную пыль.

– Мартеновский. Мне припало в прошлом году побывать.

– Много рабочих?

– До черта. Сотни четыре.

– Ну, как они? – Штокман, работая, встряхивал головой, и слова падали раздельно, как у заики.

– Им-то житье. Это тебе не пролетарии, а так... навоз.

– Почему же это? – поинтересовался Валет, сидя рядом со Штокманом, скрестив под коленями куценькие, обрубковатые пальцы.

Давыдка-вальцовщик, седой от мучной пыли, набившейся в волосы, ходил по мастерской, разбрызгивая чириками шуршащую пену стружек, с улыбкой прислушиваясь к сухому пахучему шелесту. Казалось ему, что идет он по буераку, занесенному багряным листопадом, листья мягко уминаются, а под ними – юная упругость сырой буерачной земли.

– А потому это, что все они зажиточные. Каждый имеет свой домик, свою бабу со всяким удовольствием. А тут к тому ишо половина из них баптисты. Сам хозяин – проповедник у них, ну, и рука руку моет, а на обеих грязи мотыгой не соскребешь.

¹⁴ Дать рахунку – довести дело до конца.

– Иван Алексеевич, какие это баптисты? – остановился Давыдка, уловив незнакомое слово.

– Баптисты-то? По-своему в бога веруют. Навроде полипонов¹⁵.

– Каждый дурак по-своему с ума сходит, – добавил Валет.

– Ну, так вот, прихожу я к Сергею Платоновичу, – продолжал Иван Алексеевич начатый рассказ, – у него Атепин-Цаца сидит. «Погоди, говорит, в прихожей». Сел, дожидаясь. Сквозь дверей слышу разговор ихний. Сам расписывает Атепину: мол, очень скоро должна произойти война с немцами, вычитал из книжки, а Цаца знаешь, как он гутарит? «Конечно, гутарит, я с вами не согласный насчет войны».

Иван Алексеевич так похоже передразнил Атепина, что Давыдка, округлив рот, пустил короткий смешок, но, глянув на язвительную мину Валета, смолк.

– «Война с Россией не может быть, потому что Германия правдается нашим хлебом», – продолжал Иван Алексеевич пересказ слышанного разговора. – Тут вступается ишо один, по голосу не спознал, а посла оказался пана Листницкого сын, офицер. «Война, дескать, будет промеж Германией и Францией за виноградные поля, а мы тут ни при чем».

– Ты, Осип Давидович, как думаешь? – обратился Иван Алексеевич к Штокману.

– Я предсказывать не умею, – уклончиво ответил тот, на вытянутой руке сосредоточенно рассматривая отделанное кольцо.

– Задерутся они – быть и нам там. Хошь не хошь, а придется, за волосы притянут, – рассуждал Валет.

– Тут, ребятки, вот какое дело... – заговорил Штокман, мягко освобождая кусачки из пальцев Ивана Алексеевича.

Говорил он серьезно, как видно собираясь основательно растолковать. Валет удобнее подхватил сползавшие с верстака ноги, на лице Давыдки округлились губы, не прикрывая влажной кипени плотных зубов. Штокман с присущей ему яркостью, сжато, в твердых фразах обрисовал борьбу капиталистических государств за рынки и колонии. В конце его возмущенно перебил Иван Алексеевич:

– Погоди, а мы-то тут при чем?

– У тебя и у других таких же головы будут болеть с чужого похмелья, – улыбнулся Штокман.

– Ты не будь дитем, – язвил Валет, – старая поговорка: «Паны дерутся, а у холопов чубы трясутся».

– У-у-гу-м. – Иван Алексеевич насупился, дробя какую-то громоздкую, неподатливую глыбу мыслей.

– Листницкий этот чего прибивается к Моховым? Не за дочерью его топчет? – спросил Давыдка.

– Там уже коршуновский потомок топтался... – злословил Валет.

– Слышишь, Иван Алексеевич? Офицер чего там нюхает? Иван Алексеевич встрепнулся, словно кнутом его под коленки жиганули.

– А? Что гутаришь?

– Задремал, дядя!.. Про Листницкого разговор.

– На станцию едет. Да, ишо новостиска: оттель выхожу, на крыльце – кто бы вы думали? Гришка Мелехов. Стоит с кнутиком. Спрашиваю: «Ты чего тут, Григорий?» – «Листницкого пана везу на Миллеровскую».

– Он у них в кучерах, – вступился Давыдка.

– С панского стола обедки схватывает.

– Ты, Валет, как цепной кобель, любого обрешешь.

¹⁵ Полипоны – кличка старообрядцев.

Разговор на минуту смолк. Иван Алексеевич поднялся идти.

– Ты не к стоянию спешишь? – съехидничал напоследок Валет.

– Мне каждый день стояние.

Штокман проводил всегдашних гостей; замкнув мастерскую, пошел в дом.

В ночь под пасху небо затянуло черногрудыми тучами, накрапывал дождь. Отсыревшая темнота давила хутор. На Дону, уже в сумерках, с протяжным, перекастистым стоном хрястнул лед, и первая с шорохом вылезла из воды, сжатая массивом поломанного льда, крыга. Лед разом взломало на протяжении четырех верст, до первого от хутора колена. Пошел стор. Под мерные удары церковного колокола на Дону, сотрясая берега, крушились, сталкиваясь, ледяные поля. У колена, там, где Дон, избочившись, заворачивает влево, образовался затор. Гул и скрежет налезавших крыг доносило до хутора. В церковной ограде, испещренной блестками талых лужиц, гуртовались парни. Из церкви через распахнутые двери на паперть, с паперти в ограду сползали гулкие звуки чтения, в решетчатых окнах праздничный и отрадный переливался свет, а в ограде парни щупали повизгивавших тихонько девок, целовались, вполголоса рассказывали похабные истории.

В церковной караулке толпились казаки, приехавшие к светлому богослужению с ближних и дальних хуторов. Смороенные усталю и духотой, висевшей в караулке, люди спали на лавках и у подоконников, на полу.

На поломанных порожках курили, переговаривались о погоде и озимых.

– Ваши хуторные как на поля выедут?

– На фоминой тронутся, должно.

– То-то добришша, у вас ить там песчаная степь.

– Супесь, по энту сторону лога – солончаки.

– Теперича земля напитається.

– Прошлый год мы пахали – земля как хрящ, до бесконца краю клёкая.

– Дунька, ты где? – тоненьким голосом пищало внизу у крыльца караулки.

А у церковной калитки чей-то сиплый грубый голос бубнил:

– Нашли где целоваться, ах вы... Брысь отседа, пакостники! Приспичило вам!

– Тебе пары нету? Иди нашу сучку целуй, – резонил из темноты молодой ломкий голос.

– Су-у-учку? А вот я тебе...

Вязкий топот перебирающих в беге ног, порсканье и шелест девичьих юбок.

С крыши стеклянная звень падающей капли; и снова тот же медленный, тягучий, как черноземная грязь, голос:

– Запашник надясь торговал у Прохора, давал ему двенадцать целковых – угинается. Энтот не продешевит...

На Дону – плавный шелест, шорох, хруст. Будто внизу за хутором идет принаряженная, мощная, ростом с тополь, баба, шелестя невиданно большим подолом.

В полночь, когда закрутела кисельная чернота, к ограде верхом на незаседланном коне подъехал Митька Коршунов. Слез, привязал к гриве повод уздечки, хлопнул горячившуюся лошадь ладонью. Постоял, прислушиваясь к чавканью копыт, и, оправляя пояс, пошел в ограду. На паперти снял папаху, согнул в поклоне подбритую неровною скобкой голову, расталкивая баб, протискался к алтарю. По левую сторону черным табуном густились казаки, по правую цвела пестрая смесь бабьих нарядов. Митька разыскал глазами стоявшего в первом ряду отца, подошел к нему. Перехватил у локтя руку Мирона Григорьевича, поднимавшуюся в крестном знамении, шепнул в заволосатевшее ухо:

– Батя, выдь на-час.

Пробираясь сквозь сплошную завесу различных запахов, Митька дрожал ноздрями: валили с ног чад горячего воска, дух разопревших в поту бабьих тел, могильная вонь слежалых нарядов (тех, которые вынимаются из-под испода сундуков только на рождество да на

пасху), разило мокрой обувной кожей, нафталином, выделениями говельщицких изголодавшихся желудков.

На паперти Митька, грудью прижимаясь к отцову плечу, сказал:

– Наталья помирает!

XVII

Григорий вернулся из Миллерова, куда отвозил Евгения, в вербное воскресенье. Оттепель съела снег; дорога испортилась в каких-нибудь два дня.

В Ольховом Рогу, украинской слободе, в двадцати пяти верстах от станции, переправляясь через речку, едва не утопил лошадей. В слободу приехал перед вечером. За прошедшую ночь лед поломало, пронесло, и речка, пополняемая коричневыми потоками талой воды, пухла, пенилась, подступая к улочкам.

Постоялый двор, где останавливались кормить лошадей по дороге на станцию, был на той стороне. За ночь могло еще больше прибыть воды, и Григорий решил переправиться.

Подъехал к тому месту, где сутки назад переезжал по льду; вышедшая из берегов речка гнала по раздвинувшемуся руслу грязные воды, легко кружила на середине отрезок плетня и половинку колесного обода. На оголенном от снега песке виднелись притертые санными полозьями свежие следы. Григорий остановил потных, со шмотьями мыла между ног, лошадей и соскочил с саней рассмотреть следы. Подреза прорезали тонкие полоски. У воды след слегка заворачивал влево, тонул в воде. Григорий смерил расстояние взглядом: двадцать сажений – самое большее. Подошел к лошадям проверить запряжку. В это время из крайнего двора вышел, направляясь к Григорию, пожилой, в лисьем треухе украинец.

– Ездят тут? – спросил Григорий, махая вожжами на коричневый перекипающий поток.

– Та издють. Ноне утром проихалы.

– Глубоко?

– Ни. В сани, мабуть, зальється.

Григорий подобрал вожжи и, готовя кнут, толкнул лошадей коротким повелительным «но!»... Лошади, храпя и нюхая воду, пошли нехотя.

– Но! – Григорий свистнул кнутом, привставая на козлах.

Гнедой широкозадый конь, левый в запряжке, мотнул головой – была не была! – и рывком натянул постромки. Григорий искоса глянул под ноги: вода клехтала у грядущки саней. Лошадям сначала по колено, потом сразу по грудь. Григорий хотел повернуть обратно, но лошади сорвались и, всхрапнув, поплыли. Задок саней занесло, поворачивая лошадей головами на течение. Через спины их перекатами шла вода, сани колыхало и стремительно тянуло назад.

– А-я-йй!.. А-а-йй, правь!.. – горланил, бегая по берегу, украинец и зачем-то махал сдернутым с головы лисьим треухом.

Григорий в диком остервенении, не переставая, улюлюкал, понукал лошадей. Вода курчавилась за оседавшими санями мелкими воронками. Сани резко стукнуло о торчавшую из воды сваю (след унесенного моста) и перевернуло с диковинной ловкостью. Охнув, Григорий окунулся с головой, но вожжей не выпустил. Его тянуло за полы полушубка, за ноги, влекло с мягкой настойчивостью, переворачивая возле колыхавшихся саней. Он успел ухватиться левой рукой за полоз, бросил вожжи, задышавшись, стал перехватываться руками, добираясь до барка. Он уже схватил было пальцами окованный конец барка – в этот миг Гнедой, сопротивлявшийся течению, с силой ударил его задней ногой в колено. Захлебываясь, Григорий перекинулся руками и уцепился за постромку. Его отрывало от лошадей, разжимало пальцы с удвоенной силой. Весь в огненных колючках холода, он дотянулся до головы Гнедого, и прямо в расширенные зрачки Григория вонзила лошадь бешеный, налитый смертельным ужасом взгляд своих кровавистых глаз.

Несколько раз упускал Григорий ослизлые ремни поводьев; заплывал, хватал, но поводья выскальзывали из пальцев; как-то схватил – и внезапно черкнул ногами землю.

– Но-о-о!!! – Вытягиваясь до предела, метнулся вперед и упал на пенистой отмели, сбившись с ног лошадиной грудью.

Лошади, подмяв его, вихрем вырвали из воды сани; обессиленные, в дымящейся дрожи мокрых спин, стали в нескольких шагах.

Не чувствуя боли, Григорий вскочил на ноги; холод облепил его, будто нестерпимо горячим тестом. Григорий дрожал больше, чем лошади, чувствовал, что на ногах он так же слаб сейчас, как грудной ребенок. Опамятовался и, перевернув сани на полозья, согревая лошадей, пустил их наметом. В улицу влетел, как в атаке, – в первые же раскрытые ворота направил лошадей, не замедляя бега.

Хозяин попался радушный. К лошадям послал сына, а сам помог Григорию раздеться и тоном, не допускавшим никаких возражений, приказал жене:

– Затопляй печь!

Григорий отлежался на печи, в хозяйских штанах, пока высохлась одежда; повечеряв постными щами, лег спать.

Выехал он ни свет ни заря. Лежал впереди путь в сто тридцать пять верст, и дорогá была каждая минута. Грозила степная весенняя распутица; в каждом ярке и каждой балке – шумные потоки снеговой воды.

Черная оголенная дорога резала лошадей. По заморозку-утреннику дотянул до тавричанского участка, лежавшего в четырех верстах от дороги, и стал на развилке. Дымились потные лошади, позади лежал сверкающий на земле след полозьев. Григорий бросил в участке сани, подвязал лошадям хвосты, поехал верхом, ведя вторую лошадь в поводу. Утром в вербное воскресенье добрался до Ягодного.

Старый пан выслушал подробный рассказ о дороге, пошел глянуть на лошадей. Сашка водил их по двору, сердито поглядывая на их глубоко ввалившиеся бока.

– Как лошади? – спросил пан, подходя.

– Само собой понятно, – буркнул Сашка, не останавливаясь, сотрясая седую прозелень круглой бороды.

– Не перегнал?

– Нету. Гнедой грудь потер хомутом. Пустяковина.

– Отдыхай. – Пан повел рукою в сторону ожидавшегося Григория.

Тот пошел в людскую, но отдохнуть пришлось только ночь. На следующий день утром пришел Вениамин в новой сатиновой голубой рубаше, в жирке всегдашней улыбки.

– Григорий, к пану. Сейчас же!

Генерал шлепал по залу в валеных туфлях. Григорий раз кашлянул, переминаясь с ноги на ногу у дверей зала, в другой – пан поднял голову.

– Тебе чего?

– Вениамин покликал.

– Ах да. Иди седлай жеребца и Крепыша. Скажи, чтоб Лукерья не выносила собакам. На охоту!

Григорий повернулся идти. Пан вернул его окликом:

– Слышишь? Поедешь со мной.

Аксинья сунула в карман Григорьева полушубка пресную пышку, пришептывая:

– Поисть не даст, вражина!.. Мордуют его черти. Ты б, Гриша, хучь шарф повязал.

Григорий подвел к палисаднику оседланных лошадей, свистом созвал собак. Пан вышел в поддевке синего сукна, подпоясанной наборным ремнем. За плечом висела никелевая с пробковыми стенками фляга; свисая с руки, гадюкой волочился позади витой арапник.

Держа поводья, Григорий наблюдал за стариком и удивился легкости, с какой тот метнул на седло свое костистое старое тело.

– За мной держи, – коротко приказал генерал, рукой в перчатке ласково разбирая поводья.

Под Григорием взыграл и пошел боком, по-кочетиному неся голову, четырехлеток жеребец. Он был не кован на задние и, попадая на гладкий ледок, оскользался, приседая надавал на все ноги. В сутуловатой, но надежной посадке баюкался на широкой спине Крепыша старый пан.

– Мы куда? – равняясь, спросил Григорий.

– К Ольшанскому буераку, – густым басом отозвался пан.

Лошади шли дружно. Жеребец просил поводьев, по-лебединому изгибая короткую шею, косил выпуклым глазом на седока, норовил укусить за колено. Поднялись на изволок, и пан пустил Крепыша машистой рысью. Собаки бежали позади Григория, раскинувшись короткой цепкой. Черная старая сука бежала, касаясь горбатой мордой кончика лошадиного хвоста. Жеребец приседал, горячася, хотел лягнуть назойливую суку, но та приотставала, тоскующим старушечьим взглядом ловила взгляд оглядывавшегося Григория.

До Ольшанского буерака добрались в полчаса. Пан поехал по буерачной хребтине, лохматой от коричневого старюки-бурьяна. Григорий спустился, осторожно вглядываясь в промытое, изъезженное провалами днище буерака. Изредка поглядывал на пана. Сквозь стальную сизь голого и редкого ольшаника видна была четкая, как нарисованная, фигура старика. Припадая к луке, он привстал на стремянах, и на спине его синё морщинаясь перетянутая казачьим поясом поддевка. Собаки шли по холмистому изволоку, держались кучей. Переезжая крутую промоину, Григорий свесился с седла.

«Закурить бы. Зараз пушу повод и достану кiset», – подумал он, снимая перчатку, шурша в кармане бумагой.

– Трави!.. – ружейным выстрелом гукнул за буерачной хребтиной крик.

Григорий вздернул голову; на острогорбый гребень выскочил пан и, высоко подняв арапник, пустил Крепыша карьером.

– Трави!

Пересекая хлюпкое, заросшее кугой и камышаткой днище буерака, скользя и пригибаясь к земле, быстро бежал грязно-бурый, клочковатый в пахах, невылинявший волк. Перепрыгнув ложок, он стал и, живо повернувшись боком, увидел собак. Они шли на него лавой, охватывая подковой, отрезая от леса, начинавшегося в конце буерака.

Пружинисто покачиваясь, волк выскочил на кургашек – давнишнюю сурчину, – шибко пошел к лесу. Почти навстречу ему скупыми бросками двигалась старая сука, сзади доспевал седой высокий кобель Ястреб – один из лучших и самый злой в гоньбе.

Волк на минуту замялся, словно в нерешительности. Григорий, поднимаясь из буерака, кругообразно поводя поводьями, на минуту потерял его из виду, а когда выскочил на бугор – волк мельтешил далеко-далеко; по черной ряднине степи, сливаясь с землей, плыли в бурьянах черные собаки, а дальше сбоку, полосуюя Крепыша рукоятью арапника, обскакивал крутой яр старый пан. Волк перебивал к соседнему буераку, близко наседали, охватывали собаки, и почти над клочьями волчьих пахов висел, отсюда казавшийся Григорию белесым лоскутком, седой кобель Ястреб.

– Тра-а-ави-и-и!.. – доплеснулся до Григория крик.

Он выпустил жеребца во весь мах, тщетно стараясь разглядеть, что происходило впереди: глаза застилало слезами, уши забивал режущий свист рассекаемого ветра. Охота захватила Григория. Припадая к шее жеребца, он вихрился в буйной скачке. Пока доскакал до буерака – ни волка, ни собак не было. Через минуту его догнал пан. Осадив Крепыша на всем скаку, крикнул:

- Куда пошел?
- В буерак, должно.
- Обскакивай слева!.. Гони!..

Пан всадил каблуки в бока пляшущей на дыбах лошади, поскакал направо. Григорий, спускаясь в ложбину, натянул поводья; гикнув, вылетел на ту сторону. Версты полторы торопил взопревшего жеребца плетью и криком. Вязкая, непросохшая земля налипала на копыта, ошметками осыпало лицо. Длинный буерак, излучисто вившийся по бугру, повернул вправо, разветвился на три отножины. Григорий пересек поперечную отножину и помчался по пологому склону, завидев вдали черную цепку собак, гнавших волка по степи. Зверя, как видно, отбили от сердцевины буерака, особенно густо заросшей дубом и ольхами. Там, где сердцевина кололась на три отножины и буерак покато стекал тремя черно-сизыми рукавами, волк вышел на чистое и, выгадав с сотню сажений, шибко шел под гору в суходол, сплошь залохматевший одичалой давнишней зарослью бурьяна и сухого татарника.

Привставая на стременах, Григорий следил за ним, вытирал рукавом слезы, застилавшие нахлестанные ветром глаза. Мельком взглянув влево, он узнал свою землю. Жирным косым квадратом лежала деляна, та, что осенью пахал он с Натальей. Григорий нарочно направил жеребца через пахоту, и за те небольшие минуты, в которые жеребец, спотыкаясь и качаясь, пересекал пахоту, в сердце Григория остывал охвативший его охотничий пыл. Уже равнодушно понукал Григорий тяжело сопевшего жеребца и, проследив за паном – не оглядывается ли, – перешел на куций намёт.

Вдали, у Красного лога, виднелся пустой стан пахарей. В стороне, на свежей, отливавшей бархатом пахоте ползли три пары быков, тащивших плуг.

«Наши хуторные. Чья это земля?.. Да, никак, Аникушкина». – Григорий скользил прищуренными глазами, узнавая быков и ходившего за плугом человека.

- Взя-а-а-ать!..

Григорий увидел, как двое казаков, бросив плуг, бежали наперерез волку, норовившему прорваться к логу. Один – рослый, в казачьей краснооколой фуражке, со спущенным под подбородок ремешком, – махал выдернутой из ярма железной занозой. И тут-то неожиданно волк сел, опустив зад в глубокую борозду. Седой кобель Ястреб с разлета перемахнул через него и упал, поджимая передние ноги; старая сука, пытаясь остановиться, чертила задом бугристую пахоту, не удержавшись, напоролась на волка. Тот резко мотнул головой, сука пластом зарикошетила в сторону. Черный громадный клуб насевших на волка собак, качаясь, проплыл по пахоте несколько сажений и покатился шаром. Григорий подскакал на полминуты раньше пана, прыгнул с седла, упал на колени, относя за спину руку с охотничьим ножом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.